

Константин Николаевич Леонтьев

Египетский голубь

Константин Леонтьев

Египетский голубь[1]

(рассказ русского)

РОМАН

Рукопись эту я получил недавно. Автор ее скончался около года тому назад в своем имении. Он поручил одному из своих родственников передать ее мне вместе с другими отрывками из своих воспоминаний. Хотя мы с покойным Ладневым друзьями не были и встретил я его в жизни моей всего два раза, но обе эти встречи были самые благоприятные для сближения. Я не стану подробно описывать ни нашего первого знакомства в том самом Константинополе, где начинается его рассказ, ни нашего второго свидания на Дунае. Между этими двумя встречами прошло около десяти лет, и Ладнев за это время совсем изменился: он постарел и стал очень печален.

В письме его родственника, между прочим, сказано вот что: «Покойный незадолго

до смерти своей, чувствуя себя нездоровым, однажды отпер ящик своего письменного стола, показал мне эту рукопись и сказал: „Когда я умру, пожалуйста, пошли это К. Н. Ему это доставит удовольствие, и напиши, что я даю ему право даже и напечатать этот рассказ. Пусть вспомнит он наши долгие беседы на палубе дунайского парохода „София" и наши прогулки зимними днями по улицам Царьграда"».

Ладнев угадал! Я вспомнил очень многое!..

Быть может, я решусь прибавить еще несколько слов и от себя в заключение рассказа.

Когда я жил в Адрианополе, в турецком (восхитительном для меня) квартале, на моем дворе, в углу у высокой и сырой стены было большое персиковое дерево. Оно росло у самого окна моей маленькой гостиной, и на ветках его часто ворковал голубь.

Люди мне сказали, что это не простой голубь, а египетский. И в самом деле, я помню, голубь этот не был синеватый, как обыкновенные голуби, а больше был похож цветом на горлицу. Воркованье его было тоже иное, короткое, густое и с каким-то особым внезапным возгласом, который мне казался исполненным томительной любви и почти болезненной радости.

Солнце поутру вставало с той стороны, где рос под окном персик и где тосковал и радовался, воркуя, мой голубь. Как часто это солнце утром освещало ярким светом мою гостиную, в остальное время дня темную и прохладную! Я входил в нее рано; голубь из-за окошка приветствовал меня своим милым приветствием. Я задергивал занавески, садился на длинный, кругом всей комнаты диван

мой, покрытый простою и темною материей, задумывался, глядел на стены и деревянный резной потолок аспидного цвета с белыми бордюрами и клеточками, в которых были нарисованы розы, тоже белые. Сидел я и думал, думал, думал... Никто меня не тревожил и не развлекал. Я сидел и думал, и все ждал чего-то. А голубь мой все ворковал и ворковал, все громче и громче, любовнее и любовнее. Что за счастье, что за мучительное счастье! Что за тоска! Что за ожидание!

Я ожидал, ожидал и дождался! Все это случилось почти в одно время; я влюбился в Машу Антониади и узнал, что и она меня любит, именно тогда, когда Велико, молодой болгарин, бежал из казацкого полка Садык-паши и скрылся у меня в доме. Тогда и персик у высокой стены моей покрылся весь розовыми цветами, потому что настала весна; в то время и я сам стал все лучше и лучше понимать, что воркует, что говорит и пророчит мне мой египетский голубок!

Маша Антониади была очень мила и красива собой. Глаза большие, черные, «бархатные», ласковые, хитрые; и что за цвет лица,

золотистый и «теплый»!.. Правда, самое лицо это было немного узко, немного длинно; так по крайней мере говорили многие... Но недостатки в женщинах я всегда любил; мне казалось всегда, что женщина чувствует этот недостаток сама, если даже он и мал; что ей страшно хочется нравиться (точно так, как и мне самому тогда хотелось нравиться) и что ей от этого немного, чуть-чуть больно; я думал об этом, я это чувствовал, даже и не думая, и меня влекло к ней уже потому, что мне становилось ее жалко...

Я смолоду очень любил жалеть... Жалеть было в то время для меня наслаждением...

И хотя Маша была и молода, и очень красива, и богата, и здорова, однако мне при первом же знакомстве пришлось слегка пожалеть ее, не только потому, что у нее лицо было немножко узко: этот недостаток так мало портил ее красоту, что я его долго вовсе и не замечал; но и по другой причине.

Вот как это было. В первый раз мы встретились в Буюк-Дере.

Мы все были у обедни в посольской церкви. Дамы посольские стояли на своих местах,

мы на своих. Посланницы не было; тогда только ждали со дня на день нового посла; но на месте посланницы стояла молодая советница, жена поверенного в делах.

Отошла уже половина обедни; растворили царские врата, запели Херувимскую песнь. Все стояли тихо; многие из дам опустили на колени...

Как вдруг она вошла (в белом платье и прекрасных синих лентах). Вошла и не стесняясь нимало, не смущаясь, стала выше советницы, тоже преклонила колени и стала молиться...

Пока пели Херувимскую песнь, пока архимандрит стоял перед алтарем с Дарами, никто не обнаружил ни малейшего недовольства, но как только притворили царские врата, советница оглянулась и на нас, и на других посольских дам и слегка с досадой пожала плечами. Один из секретарей сделал два-три шага. Он хотел тотчас же сделать вежливое замечание неизвестной даме, нарушившей обычай нашей посольской церкви; но советница остановила его взглядом и сказала ему тихо: «Потом...»

Мне стало почти страшно за эту бедную, красивую и так хорошо одетую незнакомку... Кто она, я не знал...

Обедня кончилась. Я все следил за интересною дамой и пошел вслед за ней. На крыльце меня обогнал секретарь и, подойдя к незнакомке, начал говорить ей почтительно:

— Я должен извиниться перед вами; у нас в церкви заведен такой порядок, что посторонние лица выше посланника и посланницы и вместе с тем ближе к алтарю, чем служащие при посольстве, становиться не могут... Я прошу тысячу раз извинить меня...

Милая незнакомка покраснела так быстро и так сильно, как только может покраснеть человек...

Я стоял очень близко на лестнице за секретарем... Я поспешил так встать, чтобы видеть лицо молодой женщины, чтобы слышать ее ответ...

Она покраснела очень сильно, это правда (бедная!), но взглянула на нас тихими глазами... Нет! простое слово «глаза» нейдет к прелестному и кроткому взгляду ее черных, больших и бархатных очей!.. Это были имен-

но те черные очи, которые воспевались поэтами в стихах.

Она взглянула так кротко и так томно, и так просто отвечала на самом чистом русском языке.

— Я не знала, виновата. Другой раз я буду становиться сзади. Благодарю вас за то, что вы сказали мне.

Ни гнева, ни смешной обидчивости, ни натянутой гримасы так называемого достоинства. Так просто и естественно!.. Покраснела только. Немножко стыдно, чуть-чуть больно от неожиданности, и такой находчивый в своей простоте и скромности ответ!

Мне показалось, что не я один был этим тронут. Молодой человек, на которого было возложено это щекотливое поручение, по фамилии Blumenfeld, всегда почти дерзкий, капризный и насмешливый, на этот раз рассыпался в извинениях. Выражение лица его стало не только любезно, но в высшей степени добродушно.

— Извините меня, — воскликнул он с удивлением на слове меня. — Это порядок дамами заведенный, и мне очень жаль за такой

неприятный случай.

Она уходила по дорожке, ответив ему что-то, чего я уже расслышать не мог. Блуменфельд все время не надевал шляпы и кланялся ей слегка, но беспрестанно; наконец он надел шляпу и подал ей руку, которую она приняла. Они скрылись за деревьями.

В эту минуту из коридора вышел на лестницу другой наш товарищ, камер-юнкер, франт и формалист в светском отношении. По службе человек основательный и трудолюбивый, но во всем остальном до невозможности скучный. Хотя с виду мы жили с ним очень мирно, потому что он был характера ровного, серьезного даже и в светских мелочах, и очень обязателен как товарищ, но я его что-то не любил; другой член посольства, очень язвительный, насмешник и выдумщик разных прозвищ, прозвал его (за глаза, разумеется) «вестовым»: это очень было удачно, потому что у него были черты лица очень грубые, лицо красное, белокурые и густые солдатские усы, без бороды. Я где-то видел таких солдат.

Он вышел на лестницу в ту минуту, когда Блуменфельд и милая незнакомка не завер-

нули еще за поворот дорожки. Я оглянулся на него; он поглядел им вслед и равнодушно сказал:

— Я ее знаю; это жена одного здешнего банабака, Антониади.

Что значит банабак, я уже знал тогда. Банабак значит по-турецки: «эй ты! смотри на меня!», т. е. «слушай, я тебя зову!..» Простые люди в Турции беспрестанно кричат друг другу: «эй! банабак!»

Поэтому и сделали из этого особое название банабак: простой, «здешний восточный человек»; вроде нашего русского хам, только с менее злым и подлым смыслом... Просто: человек здешний... и больше ничего.

— Она не похожа на жену банабака, — сказал я галантерейному и раздушенному вестовому.

— Не похожа, а жена, — отвечал он. — И почему ж не похожа! Что ж в ней особенного... Эти синие ленты у ней, правда, очень хороши (вестовой был тонкий знаток в женской одежде), заметили вы на них тонкие бордюры соломенного цвета? Это очень мило; очень мило. И шляпка хороша. Она, впрочем, воспи-

тывалась в Одессе; из порядочной семьи негодяев. А он банабак. Впрочем, был долго в Англии... Не пойдете ли и вы вместе завтракать в Бельвю?

— Пойдемте.

Мы спустились вместе с лестницы и встретили Блуменфельда. Проводив так любезно «жену банабака» до ворот, он вернулся с лицом уже недобрый, недовольный и насмешливым, и с первого слова начал передразнивать эту женщину, перед которой он только что так искренно, казалось, рассыпался.

— «Виновата, я другой раз буду становиться сзади...» — говорил он с гримасой и немного картавя (она, правда, немного картавила или, вернее сказать, «пришепетывала», я должен употребить это слово, хоть и ненавижу его; мне кажется оно слишком грубо для Маши и для ее тонкого и едва заметного недостатка).

— Pardon, chère maman! — продолжал Блуменфельд, глядя на меня и на камер-юнкера с насмешливою улыбкой. — Pardon, chère maman... Я буду умница... Ingénue!., каналья... бестия!.. Молодой человек! (так любил он

звать меня, хоть сам был еще года на три моложе меня) а! Молодой человек... Умоляю вас, не влюбитесь в эту бестию... Я уже по глазам вижу, что эта баба шельма, которая вас сделает на всю жизнь несчастным.

— Хорошо, я не буду влюбляться в нее, — отвечал я смеясь. — Да и где же мне ее найти.

— Вы хотите найти... Что вы мне сделаете, даром не скажу вам адреса!

— А! Блуменфельд уж узнал сам... справился там за кустами! — воскликнул камер-юнкер. — Не огорчайтесь (прибавил он, обращаясь ко мне) и не уступайте Блуменфельду ничего, я знаю ее адрес и скажу вам: Grande rue de Règa. Потом к маленькому Кампу, в первый переулок.

— К швее-то ты не заходи, — перебил Блуменфельд из Гоголя.

— Не зайдет, не зайдет к швее; он прямо к ней, — сказал добрый «вестовой» и продолжал объяснять мне адрес madame Антониади, которого я и не спрашивал, потому что не имел никакого приличного повода сделать ей визит.

— Оставьте, оставьте эту опасную женщи-

ну! — воскликнул Блуменфельд. — Не развращайте молодого человека. Пойдемте поскорей есть.

Мы пошли все вместе завтракать в Бельвю; переменили разговор, и о красивой madame Антониади в этот день не было более и речи.

II

Прошло, может быть, с неделю, не помню. В посольстве все скучали; ждали нового посла; опасались перемен по службе; не знали, как уживутся с ним. Несмотря на то, что близилась осень, жара была нестерпимая. Меня задержало в Константинополе одно личное дело, одна «неприятность», одно столкновение с иностранцем, из которого я вышел очень удачно и лестно для моего самолюбия, но за эту удачу все-таки по службе нужно было отвечать «формально»... Переписка с иностранцами тянулась. Мне уже становилось скучно и тяжело быть так долго здесь, в столице, не у дел, жить четыре месяца не то гостем, не то подсудимым за слишком смелое самоуправство, и очень хотелось вернуться

скорее в провинцию, к освежающей и деловой борьбе. Я сидел одним жарким полуднем в прекрасном посольском саду, на скамье в тени, и ужасно скучал. Я не могу на словах ни передать, ни изобразить то место, где я сидел, но скажу, что направо от меня был недалеко боковой флигель, где наверху помещалась канцелярия, а под канцелярией, в нижнем этаже проходные ворота; а налево, за деревьями и кустами был скрыт от глаз большой павильон, которого нижний этаж занимал М. Х—в, один из драгоманов посольства. У него была молодая, умная и очень милая жена. И я и с мужем и с нею был дружен и часто бывал у них; дойти до них было легко, но в эту минуту я даже и этого не желал.

Так сидел я очень долго под тенью огромного дерева и все тосковал и скучал, глядя то на синее небо и пышную зелень сада, то на белую каменную ограду, которая прямо передо мной отделяла сад от набережной и Босфора и заслоняла совершенно вид на них. О мадам Антониади у меня и помысла не было никакого. Как вдруг она явилась из проходных ворот; вышла и остановилась. Опять она бы-

ла хорошо одета; опять мой светский вестовой похвалил бы ее туалет. Я не буду описывать его подробно; боюсь, чтобы надо мной не смеялись, боюсь напомнить «модные» рассказы в «Современнике» покойного Панаева.

Однако, как ни боюсь я этого, мне этот миг ее неожиданного появления в воротах был до того приятен, что мне хотелось бы передать другим все, все до самых пустых мелочей... Да! она опять была одета так мило, так изящно. На ней было в это утро такое хорошее желтоватое батистовое платье, а пояс был черный... очень широкий и длинный; шляпка была совсем кругленькая и низкая, обшитая черным бархатом с двумя перьями из крыльев неизвестной мне птицы: жесткие, рыжие, какие-то вроде орлиных, но с большими белыми горошинками... Она остановилась и огляделась; я встал и поклонился не совсем кстати даже, Потому что никто меня ей не представлял и она меня вовсе не знала...

Несмотря на эту необдуманную и не совсем сообразную с приличиями вежливость мою, она обратилась ко мне очень приветливо и спросила, как пройти к мадам X., к жене

драгомана; я поспешил указать ей на дорожку вдоль стены, и мы, расставаясь, молча поклонились друг другу. Я опять сел на ту же скамью и стал смотреть все на те же прекрасные деревья и кусты, и на ту же белую стену, которая была предо мной так близко. Но эта скучная стена теперь не была уже так безжизненна и пуста ослепительною белизной своей. От меня зависело вызвать из моей собственной души милую тень, прошедшую мимо. И я видел ее перед собою. Я видел взгляд черных глаз, ласковый и кроткий, но с тонким лучом почти неуловимого лукавства. «Что-то умоляющее и доброе...» казалось мне иногда; «что-то страстное и немного коварное», казалось мне в другие минуты...

Я сидел на скамье не просто: поверенный в делах обещал мне прислать за мной в сад своего камердинера, как только он кончит переговоры с толстым и несносным советником той западной нации, с чиновником которой я имел слишком удачное столкновение, до беззаконности удачное. Западный советник приехал к нам за окончательным объяснением по тому делу, по которому меня вызвали в Ца-

ръград. Он сидел уже давно, и я понимал, что борьба между двумя дипломатами идет за меня... Но я был довольно покоен. Я давно уже решил, какие уступки я могу сделать по приказанию начальства и каких не сделаю ни за что...

Меня позвали наконец, и я оставил скамью мою вскоре после появления милого призрака в батистовом платье. Наш поверенный в делах видимо был доволен, что переговоры кончились ничем и что сам иностранец предпочитал отложить решение до приезда нашего нового посла и до возвращения из отпуска его собственного начальника.

— Ваше дело ладится, — сказал мне поверенный в делах. — «Неприятель» делает уступки. Надобно и вам быть немного податливее. Я понимаю ваш поступок, но ведь согласитесь, что он неправилен!

— Я, конечно, не искал формальной правильности, поступая так, — отвечал я. — Я нахожу, что по чести русской я поступил правильно, проучив этого негодяя... Я прошу помнить, что он сказал мне (или вернее сказал не мне, а русскому): «извольте выйти вон и что-

бы нога ваша не была более на пороге нашей канцелярии...» Разве можно было не ударить его?

— Что эти господа нестерпимы, в этом нет никакого сомнения, — сказал поверенный в делах и отпустил меня.

Я был свободен в эту минуту и пошел тотчас же к той самой русской даме, жене драгомана, к которой мадам Антониади ходила с визитом. Я думал, что я застаю ее там, однако, нет: ее уже там не было. Но я застал там вестового и Блуменфельда. Они оба у Х. бывали очень часто.

Разговор у них шел о посторонних предметах, совсем не о том, что меня интересовало в эту минуту. Дверь из гостиной в нижнем этаже была растворена прямо в сад, и за этою дверью была видна та широкая и чистая дорожка, по которой она, вероятно, только что ушла. Но никто не упоминал об ней ни слова!..

Говорили о том, что надо ждать со дня на день нового посла и об его прежних дипломатических успехах; еще о том, как ловко острит по-французски один русский генерал.

Недавно он гулял по набережной, и большая светящаяся муха села на его густую и красивую рыжую бороду. Одна перотка (она сильно румянилась), встретив его, сказала: «*Mon général, vous portez un phare dans votre barbe!*» — «*Pourvu, madame, que je n'en aie pas sur la figure (du fard)*», — отвечал генерал.

Я сам очень любил остроты этого генерала; но теперь я все ждал иной беседы... Потом рассказали, как директор оттоманского банка запретил своей молодой жене знакомиться без его разрешения с новыми неизвестными ему лицами и что она, повинувшись ему, не позволила кому-то представить себе португальского посланника, а когда испанский посланник вызвал за это мужа на дуэль, то директор банка (человек, впрочем, исполненный энергии и храбрости) нашел, что жена его виновата тем, что не умела различить представителя европейской державы от здешних банабаков... и воскликнул даже: «*Ma femme n'est après tout qu'une jeune fille!*» И они помирились.

Я обрадовался этому слову «банабак»... Я думал: вот кто-нибудь из них скажет: «А как

вы находите жену банабака Антониади, которая сегодня была у вас с визитом?» Сам я с не совсем уже чистою совестью не хотел спросить об этом. Но никто не упомянул о ней. Так прошло около часа. Вдруг на дорожке против дверей показалась наша молодая, но вовсе не красивая и тихо надменная советница. Она шла не спеша своею спокойною и прекрасною походкой. Хозяйка дома вышла к ней навстречу.

Они поздоровались и пришли вместе. Мы все встретили их на балконе. Советница, отведив нам всем едва заметным движением головы, больше снизу вверх, чем сверху вниз, сказала: «Может быть, кто-нибудь из вас объяснит мне, что такое мадам Антониади? Вот ее карточка. Она была у меня, только мне не хотелось ее принять... Почему она явилась ко мне?..»

Жена драгомана поглядела на визитную карточку и засмеявшись сказала: «Это та самая дама, которую попросили в прошлое воскресенье не становиться впереди всех... Она была сегодня у меня с визитом. Она довольно мила...»

— Все это прекрасно, — возразила советница; — но почему же она делает мне визит...

Жена драгомана, видимо, хотела заступиться за мадам Антониади и сказала:

— Она родом из Одессы, из довольно порядочного дома одесского негоцианта, русская подданная. Путешествовала и жила в Англии... Ну вот приехала сюда, хочет быть принята у нас...

Советница слегка пожалала плечами, положила карточку на стол, как будто она до нее не касалась, как будто она не удостоивала даже и принять ее на свой счет, села и переменила разговор. Она просидела довольно долго и, собираясь уходить, подошла к столу, взяла снова карточку, поднесла ее близко к глазам и прочла громко еще раз:

— *Madame Antoniadi, tout court...*

Потом, обращаясь ко всем нам, спросила еще раз, почти с досадой:

— Я бы желала знать, зачем же эта дама мне сделала визит?

На это ответил Blumenfeld, с пренебрежением, по-русски:

— Наглая бабенка... Ей хочется втереться в

ПОСОЛЬСТВО...

— Что ж, она из таких дам, которым платят визиты или нет? — спросила опять советница.

— Я думаю, нужно, — сказала жена драгомана. — Впрочем, вот monsieur Несвицкий ее знает, кажется, лучше нас.

— Да, я ее знаю немного, — сказал «вестовой». — Я имел случай ужинать с ней у ***. Она довольно мила, это правда. Но она не светская женщина. Вообразите, на этом ужине она ела в перчатках... Все обратили внимание...

— Ведь в Англии многие, я слышала, делают так, — возразила жена драгомана. — Я не согласна с этим; я нахожу, что она женщина хорошего общества et qu'elle a l'air très distingué...

Несвицкий на это заметил следующее, с значительною и основательною, почти научною точностью:

— Я позволю себе различить понятие «светская женщина» от понятия женщина «distinguée». Она может быть distinguée, мила и все что вам угодно, но я не позволю себе на-

звать «светскою» женщиной женщину, которая не знает приличий и принятых в свете обычаев. Местные обычаи в Англии не могут везде быть приложимы... Это смешно здесь, где высшее общество вполне космополитического характера...

— Может быть, — отвечала хозяйка дома, — и на этом ученом замечании скучного камер-юнкера разговор о мадам Антониади опять прекратился.

Но сношения моим с Машей Антониади еще не суждено было ограничиться этими двумя встречами.

Мне очень было обидно за нее, и я досадовал на эту сухость советницы, тем более, что считал все это напускным и даже глупым.

Я понимал всегда необходимость общественной иерархии и даже любил ее; но я находил, что человек с умом должен делать исключения; а константинопольское общество к тому же такого смешанного и оригинального состава, что делать эти исключения, мне казалось, здесь было легче, чем где-нибудь. Я очень беспокоился за эту бедную мадам Антониади, с которой мне не пришлось даже и го-

ворить ни разу как следует. Нельзя же было назвать разговором то, что она спросила у меня, как пройти к жене драгомана, что я вывел ее на дорогу и сказал: «Вот здесь, прямо». А она поблагодарила меня и ушла. Несмотря на это, ее миловидность и, как мне казалось, что-то вроде ее беспомощности в нашей польской среде привлекало меня к ней, и мне хотелось непременно достичь того, чтобы наши дамы отдали ей визиты. Она воспитывалась и выросла в Одессе, говорила по-русски так же чисто, как мы все, молилась усердно в нашей церкви, была, может быть, так рада, по возвращении из Англии и Франции, видеть столько русских и еще таких порядочных, умных, образованных, хорошего тона... Зачем же ее оскорблять?

С женой первого драгомана мне было бы легко объясниться; она держала себя очень просто; я сказал уже, что с мужем ее и с ней самую я был в дружеских отношениях. Рассуждать и спорить тонко и умно она очень любила... Но у нее были свои недостатки; она была иностранка, и родная сестра ее была замужем в Германии за самым простым, хоть и

богатым шляпным фабрикантом. Несмотря на такое неизящное родство, она сама выросла в высшем петербургском обществе и могла бы быть в этих случаях вполне самостоятельной; но она при большой независимости ума была очень непостоянна в своих принципах и вкусах и вообще по характеру как-то не слишком надежна; я знал, что ей гораздо приятнее и легче будет побывать у мадам Антониади после советницы, чем первой показать пример. Поэтому я решился убедить прежде всего советницу. Это было не совсем легко; она, как я уже не раз говорил, была женщина очень тихая и вежливая, но очень недоступная (быть может, и оттого, что лицом была дурна), и несмотря на то, что муж ее любил меня, часто звал к себе обедать и обращался со мной почти по-товарищески, она едва-едва протягивала мне руку и все как будто чего-то опасалась. Однако, если человек чего-нибудь захочет, он выждет случая и воспользуется им.

III

Не более как дня чрез три после нашей

встречи с мадам Антониади в саду, я обедал у советника и остался по его приглашению на целый вечер. Мадам Х. пришла запросто после обеда. Скоро совсем стемнело; утихший Босфор был покоен, и на азиатском берегу прямо против нашего балкона светился на каком-то судне пунцовый огонь. Советник с Блуменфельдом и генеральным консулом сели играть в зале в карты, а я остался на балконе один с обеими дамами. Мы все сначала то молчали, то говорили о ничтожных предметах, потому что все трое были задумчивы и всем хотелось смотреть на тихий пролив и на красный огонь. Мадам Х. первая прервала наше задумчивое молчание.

— Вы мечтаете сегодня? — спросила она у советницы.

— Нет, — ответила та, — я не мечтаю; я смотрю на этот красный огонь и вспоминаю другой такой же огонь в Бейруте... Во время этих сирийских ужасов... на такой огонь я смотрела тоже одним вечером... Это ужасно вспоминать... Какая жестокость у людей этих, какое варварство!.. И сама я выучилась такой жестокости... Как я была рада, когда Фуад-па-

ша приехал и начал расстреливать этих начальников!..

— Я думаю! — заметила на это мадам X., — вы только что приехали тогда в Турцию, и первые впечатления ваши были такие страшные!..

Советница, вообще неразговорчивая, на мое счастье в этот вечер была возбуждена и общительна. Она рассказала, как кто-то (не помню кто; я, должно быть, не слишком внимательно слушал) давал бал в Бейруте незадолго до начала борьбы между друзьями и мараонитами, перешедшей в повсеместное избивание христиан. На этот большой бал были приглашены и главные вожди друзей, великолепные воины в оригинальных одеждах. Никто в этот вечер не предвидел, что руки этих красивых людей, которые держали себя на мирном балу с таким простодушным достоинством, так скоро обогрятся кровью... «Один из них (говорила советница) очень наивно заснул на диване, и многие из мужчин ходили любоваться на него... Он спал и ничего не слышал...»

Окончив этот рассказ, советница прибави-

ла:

— Да, когда вспомнишь весь этот страх, этот ужас!.. Вообразите, один из самых богатых негоциантов, француз... он имел какую-то фабрику или что-то в этом роде около Бейрута и у него были три дочери, большие и очень красивые... Этот человек тайно от жены и дочерей подложил под дом свой бочонки с порохом... Понимаете, чтобы взорвать всех их на воздух, если бы друзья или мусульмане напали бы на их жилище. Вообразите, эти несчастные жили столько дней над этим «вулканом», ничего не подозревая!.. И эти ежедневные известия!.. И нельзя бежать!.. Мужу нельзя оставить своей должности, и с моей стороны было бы низко оставить его одного в такие минуты!.. После, когда все это кончилось, мне не раз казалось, что это все неправда, что этого никогда не бывало, не могло быть.

Советница одушевилась и говорила еще долго и все так же хорошо.

Я молчал пока, но тотчас же сообразил, что можно воспользоваться этим предметом разговора на пользу мадам Антониади «tout

court". Дамы продолжали рассуждать о варварстве и жестокости. Наконец, выждав время, я сказал:

— Мне хочется по этому поводу сделать несколько очень откровенных замечаний, но мадам Н. (советница) всегда своим спокойствием и недоступностью наводит на меня такой «священный ужас», что я иногда не решаюсь заговорить с ней, как бы не испортить себе карьеру и все дела.

— *Escoutez*, — возразила она мне на это довольно резко, — какое мне дело да вашей карьеры, согласитесь сами?

— Вот видите, как я прав, — воскликнул я. — Я еще и мнения своего не собрался сказать, а вы уже спешите уничтожить меня... Я ведь не говорил вам, что я прав в моей боязни... Я хотел сказать только, что «священный ужас» мой так велик при взгляде на вас, что я теряюсь и думаю всякий вздор, например, о карьере и т. п.; особенно, когда изредка я сижу так близко от вас, как теперь... Чин у меня не велик еще... знаете...

— Вы очень дурно начинаете... Вы говорите обидные вещи... Эти чины! — прервала ме-

ня Елена X. (она, замечу между прочим, очень была довольна, что муж ее такой еще молодой и уже статский советник).

— Ну да, разумеется, — сказала советница.

Однако я был прав; я заставил ее в первый раз обратить внимание на то, что она уж слишком сухо держит себя не со мною одним, а со многими. (Незадолго пред этим один молодой товарищ наш поднял с полу платок, который она уронила, и хотел ей отдать, но она не взяла из рук в руки, а показала ему движением головы на стол и сказала: «туда».) Мой приступ был уж тем хорош, что немного смягчил и как бы пристыдил ее. После этого я продолжал:

— Разве вы хотите, чтоб я не «трепетал», а был бы откровенен?

Она сказала:

— Смотря по откровенности...

— Моя откровенность будет вот в чем: я нахожу, что есть случаи, в которых и вы, и мадам X—а обнаруживаете больше жестокости, чем начальники друзей и мусульмане Дамаска. Что ж прикажете: трепетать или не трепетать?

— Не трепещите... Впрочем, вы все притворяетесь... Трепещут совсем иначе... не так, как вы...

— C'est très curieux! — воскликнула мадам Х—а. — Где же это варварство наше?

— Жестокость, жестокость, а не варварство; это разница, — сказал я. — Извольте, вот в чем. Я понимаю, что толпы людей, возбужденные идеей, совершают ужасы во время войны или междоусобий. Я понимаю также вполне вашу радость, когда расстреливали тех, которые ужасам потворствовали или руководили фанатиков... Это война, кровопролитие... Пожар страстей... Но зачем тонкая жестокость в мирное время?.. Зачем эти «общественные обиды». *Les variations insolentes de la politesse* (это не мое, это слово одного французского публициста)...

— Что такое! Что такое! Какие variations? — воскликнули дамы с любопытством.

— А вот какие... Отчего вы не захотели заплатить визит молодой женщине, русской, которая выросла в Одессе и рада русских видеть; которая очень мила и прилична; а по-

сланницу, леди Б., хромую, скучную, глупую, по-моему, с красным носом, которая похожа на пьяницу-кухарку, вы принимаете почти-тельно и спешите сами к ней... Это жестокость... и вместе с тем, простите, я не смею сказать...

— Говорите уж все...

— Недостаток вкуса!

— А! — перебила Елена Х., — он влюбился в эту мадам Антониади и жалеет ее. Но если так, то нам нужно платить визиты и жене Боско, нашего portier, чтоб и она была довольна?

— Вы сами знаете, что это не так, — сказал я. — Жена Боско не претендует на это. А если у вас много доброты и мало жестокости, то надо и невинные претензии в других щадить... Разве у нас всех трех нет вовсе претензий?

— У вас их даже много, — заметила советница, только очень добродушным тоном.

Я постарался также придать моему голосу и тону величайшую почтительность, почти молящую, и детскую кротость и сказал:

— Ну, так сделайте на этот раз исключе-

ние. Вы так обе поставлены выгодно, что вы этим не унижитесь, потворствуя на этот раз моим претензиям... Прошу вас...

— Что же, вы в самом деле влюблены? — спросила мадам X—а; а советница сказала ей:

— Послушайте, исполним его желание; только с тем условием, чтоб он вперед хоть немножко «трепетал», а то он именно потому и говорит о «священном ужасе», что он ничего такого не чувствует...

— Согласен, — отвечал я; — я дам вам слово, что несколько месяцев, если угодно, я буду уходить куда-нибудь в дальний угол, как вы только войдете в комнату...

— Хорошо...

— Но это ведь ко мне не относится, — возразила жена первого драгомана. — Это вы его можете ужасать, а я для него нипочем... Он даже бранит меня иногда. Мое условие для визита другое. Я поеду с тем условием, что я при всех, и при Блуменфельде, и при других расскажу, как он влюблен в мадам Антониади...

— Извольте, — согласился я. — Я не боюсь... Все эти молодые люди были когда-нибудь и

сами влюблены; и будут еще. Что ж такое!..

Но в самом деле мне это было очень неприятно. Я согласился только для того, чтобы достигнуть цели; но я решился просто упросить после мадам Х., чтоб она этого не делала. А теперь надо было ей уступить...

Разумеется, все это было дело случая. Мадам Антониади была такого рода и такого положения женщина, что они обе могли бы сделать ей визит без моего ходатайства, могли и не сделать... Если бы муж ее был и хуже, но был бы одним из русских подданных, торгующих в Царьграде, русский примат (*un primat russe*), то сделать ей визит раз или два в год было бы, пожалуй, даже обязанностью для наших чиновных дам. Но Антониади имел французский паспорт, и жена его никакого политического значения для посольства иметь не могла, а имела только общественное, которое казалось не достаточно велико... Сама же по себе мадам Антониади была достойна их общества, и главное затруднение, мне казалось, происходило оттого, что советница была сама не в духе в это время. Она надеялась, что муж ее после долгого управления

останется тут посланником; назначение нового раздражило ее, и она, предвидя скорый отсюда отъезд свой, была ко всему окружающему равнодушна и не хотела взять на себя ни малейшего труда. Однако она сдержала свое слово. Через несколько дней я опять обедал у них. Она вышла к обеду и, увидав меня в толпе других, назвала меня по имени и, указывая на дальний темный угол, сказала:

— Идите туда... Понимаете?

— Понимаю, — сказал я и покорно пошел в этот угол.

— Что такое? что такое? — спросили все.

— Ничего, — отвечала она. — У нас такой уговор есть... Пари.

— Нам нельзя знать? — спросил муж.

— Можно. Я скажу после. И отвернулась от меня.

Я посидел, разумеется, недолго в углу, встал и хотел выйти на балкон; но она позвала меня и сказала:

— Я исполнила... она в самом деле ничего!.. Elle est très bien, quoique un peu prétentieuse, un peu précieuse... Вы были в углу; теперь остается при всех обнаружить, что вы

к ней неравнодушны, но я предоставляю это Елене X., она собиралась обличить вас...

— Как вам угодно! — сказал я очень сухо, и она, увидав на лице моем досаду и боль, была так добра и деликатна, что за обедом даже ни слова не упомянула о мадам Антониади.

Что касается до Елены X. (она тоже была у мадам Антониади с визитом в этот же день), то я пошел к ней вечером, поцеловал у ней за это руку и откровенно и убедительно просил ее не «дразнить» меня и не говорить ни при ком об этом.

— Вы разве в самом деле влюблены? — спросила она меня с искренним участием.

— Нет еще, — отвечал я; — но если вы будете так шутить при всех, а потом я сам познакомлюсь и начну в доме бывать, то это ей повредит со временем... вы так добры сами и честны... зачем же вы будете делать зло молодой женщине, которая сама вам понравилась...

— Это правда, — сказала добрая Елена, дала мне слово не шутить этим и тоже сдержала его.

IV

После этого я стал искать случая познакомиться с семейством Антониади. Я мог бы достичь этого легко чрез Блуменфельда, который хотя и бранил их за глаза и смеялся над ними, однако был у них несколько раз, как я узнал от камер-юнкера. Но разве этот человек мог к чему-нибудь подобному отнестись просто? Его-то именно я и не хотел просить ввести меня в этот дом. Во всякий другой, только не в этот!

Было еще и другое затруднение... я был очень дурно одет. У меня был очень хороший новый фрак, в котором я часто обедал в по-сольстве, но ежедневное мое платье было не хорошо. Почти все мои знакомые и товарищи были такие щеголи, а я ходил по набережной Буюк-Дере в каких-то белых летних сюртуках вроде военных кителей. Не скажу, чтобы меня это слишком огорчало или стесняло, я был спокоен и не стыдился; а сослуживцы мои, надо отдать им эту справедливость, при всем щегольстве своем, связях и богатстве, вели себя со мной совершенно по-товарищески и сами приглашали меня на такие прогулки и

сборища, в которых принимали участие и самые знатные, самые чиновные иностранцы. Раз только один из секретарей посольства сделал мне замечание по поводу моего костюма, но такое дружеское, что оно обидеть никак не могло. Он сказал мне с участием и грустью:

— Когда это, милый Владимир Александрович, я увижу вас хорошо одетым. Эти белые штуки ваши мне ужасно надоели!..

— Если они надоели вам, то каково же мне? — отвечал я ему. — Что ж делать!.. Надо иметь терпение. Дайте денег взаймы, я сошью себе платье у Мира.

— Проиграл много, а то бы дал с радостью! — печально сказал на это секретарь...

Однако это замечание принесло свои плоды...

Я стал думать о том, как бы мне устроить это дело и явиться пред милою Антониади; я не говорю чем-нибудь особенным, а хоть таким как все... Нужно было занять. Но где? У кого?

Я стал было просить вперед мое жалованье у нашего казначея Т., добродушного тол-

стого грека-католика. Он иногда давал. Но на мою беду Т. был в то время под самым неблагоприятным для меня впечатлением.

Один из небогатых сослуживцев наших, родом болгарин, незадолго пред этим взял у него вперед жалованье за два месяца, заболел и умер. Толстый Т. топал ногами и с мрачным видом кричал:

— Вообразите, какой фарс разыграл со мной «*ce diable de Stoyanoff*»! Взял деньги и умер! И я теперь плачу казне свои... Я не буду больше никому давать ни копейки.

Что мне было делать? Мера терпения моего истоцилась; та внутренняя самоуверенность, та гордость, которая до этой минуты возвышалась над белыми старомодными и странными кителями, начала почему-то слабеть... мне становилось больно, скучно...

Счастливая случайность выручила меня неожиданно. Тоскуя о новом платье, я зашел к Вячеславу Нагибину, молодому чиновнику русского почтового ведомства в Константинополе.

Он был юноша богатый; расчетливый до скупости; по службе аккуратный; маленького

роста, свежий и красивый, как куколка; охотник до хороших вещей, до древностей, до восточных ковров, до кипсеков. Я с ним был в хороших отношениях; во время приездов моих в столицу находил всегда пристанище на прекрасном диване его приемной, и даже, признаюсь (я дал себе слово во всем признаваться в этом рассказе), удивлял всех тем, что умел, несмотря на его чрезвычайную расчетливость, занимать у него деньги, льстя ему и подделываясь без особого труда под его археологические вкусы. На этот раз мне опять удалось то же самое и в гораздо больших размерах. Нагибин достал где-то очень редкое иллюстрированное издание «Секретный Помпейский Музей». Я начал объяснять ему, почему эти, по-видимому, бесстыдные изображения помпейских жилищ не производят на человека со вкусом и нравственным чувством того возмутительного впечатления, которое производят на него цинические картины нашего времени. Я доказывал ему (конечно, не без основания), что сравнительное целомудрие и изящество древнего сладострастия происходило от того, что было освещено

как бы косвенными лучами самого религиозного начала, господствовавшего в греко-римской жизни, и потому самые бесстыдные изображения были чужды того цинического юмора и той грязной грубости, с которою приступают ко всему подобному люди нашего времени (и особенно гадкие эти французы) вопреки Христианству...

— Раствлением античного мира, — сказал я, — как будто бы правили благородные демоны Мильтона и Лермонтова; современным развратом правит отвратительный Мефистофель. В нравственном отношении, — прибавил я, — быть может, это и лучше, так как есть умы и сердца, которые, отвращаясь от грязи и цинизма, легко поддаются тонкому обаянию плотской эстетики. Но в отношении искусства — совсем иначе.

Вячеслав Петрович был в восторге от моего объяснения и спросил:

— Отчего вы об этом не напишете?

— Куда мне писать! — отвечал я. — Я мог бы писать в хорошей обстановке, я не хочу быть похожим на газетного скромного труженика... Это очень обидно. А тут денег нет ни-

когда! (Я еще раз сознаюсь, что у меня тогда были большие и самые разнородные претензии.)

— Сколько вам теперь нужно? — спросил Нагибин, — скажите откровенно...

— Рублей двести, — отвечал я, — но вы мне столько раз уже давали; про вас говорят все, что вы скупы на все, кроме ваших этих редкостей...

— Вы тоже редкость! Я и еще вам дам; вы мне те заплатили, — сказал он любезно и пошел доставать из своего бюро деньги, которые я долго, очень долго потом не в силах был ему возвратить.

За эту вину мою Нагибин был одно время на меня основательно сердит; но это случилось гораздо позднее, а в те дни, которые последовали за моим неожиданным и столь удачным займом, Нагибин был доволен мною, а я совершенно счастлив.

Я оделся хорошо, так хорошо, что переход от «белых кителей» был уж слишком резок и бросался всем в глаза.

Товарищи шутили, но так мило и не зло, что их ласковые насмешки не только не

оскорбляли меня, но даже усиливали мое удовольствие.

Первый секретарь посольства сообщил мне с улыбкой будто бы все иностранцы спрашивают:

— Кто этот молодой и элегантный консул, который давеча вышел из ворот русского посольства? Кто это? Кто это?

— Непременно консул. Отчего ж не секретарь посольства? - спросил я.

И прибавил:

— Вы верно не находите меня этого звания достойным? Какой-нибудь оттенок?..

— Мы, секретари, люди мирные, люди пера, — отвечал с улыбкой первый секретарь, — а у вас усики так припомажены и подкручены, что всякий примет вас за консула. *Ex ungue leonem!*.. Консула люди воинственные; они считают долгом все разносить, чтобы доказать величие русского призвания на Востоке...

Меня это объяснение восхитило своею тонкою ядовитостью... Один из драгоманов (тот самый, который так жаждал видеть меня хорошо одетым) обнял меня и воскликнул:

— Наконец-то моя мечта осуществилась... Молодцом! молодцом... Поздравляю, голубчик... Поздравляю!

Янинский консул Благов, с которым мы были «на ты» и знакомы с детства и который только что приехал в отпуск, хотел сочинить стихи на мое новое платье... (Он писал иногда очень хорошие эпиграммы и сатиры.) Но, по его собственному уверению, было так нестерпимо жарко, что злая муза его дремала и он дальше одного стиха не пошел:

Тому цвету Bismark изумлялся народ...

Замечу, что я по всегдашнему расположению моему подозревать в людях скорее доброе, чем худое, не поверил, что Благов изнемогает от жары, приписал неудачу его стихов высокому чувству самой тонкой доброты; я думал, что он не хочет даже и легкою горечью приятельской насмешки отравить ту почти отроческую радость, которую он мог предполагать во мне... Да я ее и не скрывал!

Самой надменной советнице нашей я сказал:

— Теперь я вас буду меньше бояться!

— Смотрите не ошибитесь, не будет ли ху-

же? — возразила она довольно благосклонно.

Однако ничего худшего не вышло ни от нее, ни от Других, и мне оставалось только найти случай познакомиться с мужем Антониади. Этот случай представился сам собою раньше, чем я ожидал. Дело было вот как. Мы ждали приезда нового посланника в Буюк-Дере. Два дня продолжалась ужасная буря. Страшно было подумать, как плывет он теперь по Черному морю из Одессы с семьей?.. Но в самый день вступления маленькой «Тамани» в Босфор погода разгулялась; пролив стал синий и ровный; все утихло и приняло праздничный вид. Стало так хорошо, что один из сослуживцев наших с завистью воскликнул: «Этому человеку (посланнику) на роду написано счастье! Даже и погода для него разгулялась!»

Поверенный в делах и все чиновники посольства готовились встретить начальника, надели фраки. Было дано уже как-то знать, что «Тамань» вступила в пролив. Я не принадлежал к посольству, не искал присоединиться к этой свите, хотя бы мне никто, конечно, этого бы не запретил.

Не знаю и не помню почему, я предпочел пойти на квартиру того казначея Т., который так сердился на неожиданно умершего болгарина, и смотреть оттуда на въезд и встречу из окна. Т. сам, приглашая меня воспользоваться его окнами, отворенными прямо на прекрасную набережную Буюк-Дере, предупредил меня, что я найду у него гостей.

— Un certain Antoniadi Chiote.[2] Brave homme quant au fond; mais anglomane comme un sot! — сказал он с мрачною энергией и прибавил подмигивая: — Possédant du reste une femme, une jolie femme, dont vous me donnerez des nouvelles, je veux bien l'espérer! — И притопнув значительно ногой, толстяк надел круглую шляпу и удалился поспешно, потому что поверенный в делах его давно ждал.

Я пошел к нему на квартиру и увидел там этих «гостей».

Была тут одна пожилая, почтенная дама; гречанка тоже и, как сам хозяин, римского исповедания; двоюродная ему сестра; не знаю, почему-то она давно уже носила траур. Я ее знал и прежде, и мне очень нравилась ее приятная и благородная наружность. Седые воло-

сы и бледное лицо; плавная и величавая походка, черная одежда печали и тонкие черты лица, милая моложавая улыбка, несколько лукавая — все это вместе располагало меня к ней, хотя я встречал ее редко и еще реже имел случай с ней говорить.

Она сидела на диване рядом с другою дамой, тоже не молодою.

Эта другая дама была совсем иного рода. Я ее видел в первый раз. Одета она была недурно и сообразно с годами и держала себя очень скромно. И несмотря на все это, в ее наружности было что-то подозрительное, приторное и отталкивающее. Она была очень белая, бледна и несвежа; волосы ее были светлы, как лен, черты лица неправильны и некрасивы; губы тонки, а веки очень красны. Она придавала себе сентиментальный вид. Взглянув на нее, я разом вспомнил о трех очень далеких друг от друга образах — о белом кролике с розовыми глазами, о какой-нибудь несчастной, никем на свете не любимой и некрасивой старой девушке и еще о начальнике султанских не чорных, а белых евнухов... мне хотелось поклониться ей и сказать:

— Здравствуйте, m-lle Кызлар-агаси!..

Но она была не девица, а вдова из Одессы, приятельница г-жи Антониади, безо всякого определенного общественного положения.

— Madame Игнатович, ваша соотечественница, из Одессы, приятельница madame Антониади, — сказала кузина хозяина, знакомя меня с ней.

И фамилия эта самая, Игнатович, была такая неопределенная, она могла быть и польскою, и сербскою, и малороссийскою, и даже великорусскою, все равно.

Эта женщина возбудила во мне к себе сразу отвращение...

Пред этими двумя дамами, привлекательною и ужасною, сидевшими рядом на диване, качался тихонько на качалке бледный как воск брюнет с густыми и длинными черными бакенбардами и с цилиндром в руке. Это был сам Антониади, — «*Chiote; bon homme, quant au fond...*»

Жена его сидела у окна и, облокотись на подоконник, смотрела на Босфор, за которым зеленел азиатский берег.

Она сидела, одною рукой облокотившись

на окно, а другую обнимала дочь свою, девочку лет семи. И в одежде дочери была видна душа изящной матери. Девочка была одета очень мило, в белом кисейном с зелеными горошками платье и в шляпке, украшенной колосьями, васильками и пунцовым маком; но лицом она была нехороша и больше походила на отца, чем на мать.

Кузина хозяйина подала мне руку и познакомила меня со всеми.

Когда мадам Антониади обернулась и глаза наши встретились, не знаю почему, я до сих пор не в силах объяснить этого... не знаю почему, сердце мне сказало что-то особое...

«Она будет любить тебя».

Или: «Она тебе не будет чужою...»

Не знаю хорошо что именно, но что-то особое...

Я сел и начал о чем-то говорить с привлекательною кузиной... О чем мы говорили, не помню; но помню только приятные движения ее головы и ее улыбки, ее одобрения. Я говорил, должно быть, недурно; хотя и не помню о чем, но я знаю, что, обращаясь к ней, я говорил не для нее, а для той, которая сидела

у окна.

Мадам Антониади шептала в это время что-то дочери, показывая ей на Босфор.

Кузина хозяйина обратилась к ней и спросила: «Вы начинаете свыкаться с нашим Востоком?»

Я еще не слыхал в это утро ее музыкального голоса и ждал, что она скажет; но она сказала очень обыкновенную вещь: «Природа здесь восхитительна; но общество здешнее я недостаточно еще знаю, чтоб об нем судить».

— Здесь не одно общество, а двадцать разных, — отвечала кузина.

В эту минуту раздались пушечные выстрелы... «Тамань» была уже близко...

Мадам Антониади вздрогнула; девочка запрыгала у окошка, спрашивая:

— C'est le ministre, maman? c'est le ministre?... Мы все поспешили к окнам...

Выстрелы раздавались один за другим; стреляли турецкие пушки и с одного русского военного, случайно зашедшего в Босфор...

«Тамань» уже была видна из наших окон... Пред деревянную пристанью, против ворот Миссии, качалась лодка, готовая вести весь

персонал посольский навстречу послу. «Тамань» остановилась. Выстрелы не умолкали... Чиновники наши толпой во фраках и цилиндрах спешили к пристани вослед за поверенным в делах. Они сели в лодки и поплыли к пароходу.

— Mon gros cousin est tout essoufflé, je suppose, — сказала мне с улыбкой мадам Калерджи, кузина хозяина.

— Какой прекрасный, почтенный человек ваш cousin! — заметил ни с того ни с сего г. Антониади с натянутым восторгом.

— Да, он очень добр, — прибавила жена его равнодушно и потом вдруг, обращаясь ко мне, спросила: — отчего вы не участвуете в этой церемонии?

— Я не принадлежу к посольству. Я здесь в гостях, на время. Я только могу быть зрителем.

— Восток вам нравится? — спросила она еще.

— Ужасно, — отвечал я с жаром.

— Что ж вам именно нравится, я бы желала знать? Это очень любопытно...

Я пожал только плечами и ответил, что

для меня непонятно, как может Восток не нравиться...

— Вас удивляет, кажется, мой вопрос? — сказала она.

— Да, удивляет, — сказал я. — Здесь все... или почти все хорошо.

— Это не объяснение, — возразила она с милою улыбкой.

Дочь ее перебила нас в эту минуту; она хотела знать: Что теперь будет? — Отчего le ministre не едет сюда? Что он теперь делает?.. Есть ли у него жена и дети?

Мне пришлось с досадой объяснять все этой девочке, так как мать сказала ей, что я все это лучше ее знаю... Я сказал, что у посланника есть жена очень молодая, красивая и богатая, что есть пока еще один только маленький сын и что посланник принимает теперь на пароход поверенного в делах и будущих подчиненных своих, но, вероятно, скоро будет на берег... Я говорил все это терпеливо и вежливым голосом, но глядел на девочку очень сухо и внушительно, чтоб отнять у нее охоту обращаться еще раз ко мне.

Мать заметила эту досаду и, улыбнувшись,

сказала дочери по-гречески: «Не надоедай своими вопросами».

Освободившись на минуту от докучного ребенка, я начал так:

— О Востоке надо или говорить много и основательно, или отделяться такими фразами, что природа хороша, что все это очень оригинально, но что общества здесь нет...

Я хотел развить мою мысль дальше, но за спиной моей и очень близко раздался голос вставшего со своего места мужа:

— Вы называете это фразами? Но ведь это истины о Востоке... Почему же вы называете это фразами?

Я не заметил, как он приблизился, и чуть не вздрогнул от этой неприятной неожиданности.

Он, улыбаясь немного, щипал одною рукой свои черные, длинные и смолистые бакенбарды...

Одну секунду от новой и мгновенной досады я не знал, что отвечать, но тотчас же справился с собой и сказал:

— Да, я считаю это фразами, потому что все это говорится без мысли и безо всякого

живого, личного чувства. Слышат это друг от друга; вкуса мало; идеалы жизни ложные, какие-то парижские...

— Почему же парижские, — возразил муж. — Люди и сами могут судить. А если жители Парижа делают верные замечания, почему же отвергать истину по предубеждению...

— Что такое истина? — спросил я, как Пилат, не найдя на первую минуту ничего лучшего (мне хотелось отвечать ему дерзко и грубо, хотелось сказать, как сказал недавно еще при целом обществе, очень высоком, один из наших консулов, человек очень горячий по характеру: «Кто ж ездит в Париж теперь? Разве какие-нибудь свиньи?» Но, конечно, я воздержался.)...

— Во всем сомнения? Пирронизм?! — с легким и почти насмешливым поклоном заметил хиосский торговец и, прекращая спор, прибавил, глядя в сторону «Тамани»:

— Вот, кажется, посланник съезжает на берег...

Все глаза (кроме моих) опять устремились на синие и тихие воды прекрасного пролива...

Я говорю: кроме моих, потому что в эту минуту чета Антониади интересовала меня больше всего, и эти несколько язвительные возражения мужа, и моя собственная, как мне казалось, ненаходчивость меня взволновали больше, чем я мог ожидать при первой встрече с людьми незнакомыми, к которым я должен был бы быть совершенно равнодушным...

Но... увы, я уже с первого взгляда вполне равнодушен не был...

V

Я не помню, как и на чем ехал посланник с парохода до пристани, на посольском ли каике или на военном каком-нибудь катере, я не помню, была ли и в это время пушечная пальба или нет. Я не помню даже, глядел ли я в окно в эти минуты или нет. Вероятно, глядел; но был до того равнодушен ко всему церемониалу, что у меня не осталось в памяти никакого впечатления. Я помню только одно, что я был не в духе. «Пирронизм! Пирронизм!» Зачем хиосскому купцу и такому неприятному знать так твердо названия философских си-

стем!..

Посланник приближался к пристани.

— Жена его с ним! жена! — говорила бледная девочка, прыгая у окна.

Старшие все молчали.

Посланник и посланница вышли на берег.

Посланница шла одна впереди. Посланник следовал за нею. Посланница была одета очень скромно, в чем-то сером и в круглой шляпе.

— Она очень молода! — заметила кузина хозяина.

— Но отчего она так бледна? — спросила нежно и жалостно белая дама с красными веками.

— Вчера была буря; она, вероятно, страдала, — сказал Антониади.

— Это ужасно! — воскликнула еще сентиментальнее дама с общеславянской фамилией.

Маленькая дочь Антониади недоумевала.

— Разве она очень хороша? — спросила она про красивую посланницу.

— Ты ничего не понимаешь, Акривй,* она красавица, — возразила ей мать. — Ты не во-

ображай, что ты сама хороша. Ты будешь гораздо хуже ее.

— Я знаю, что я не хороша, — прошептала Акривй и спрятала лицо на груди у матери.

Последнее замечание меня обрадовало; маленькая Акривй напоминала отца, такие же тихие черные глаза, покойные, скучные; цвет лица вовсе не такой золотистый, как у матери, а бледно-восковой, как у него... Это строгое замечание матери, по-видимому любящей и ласковой, было не лестно для того, на кого дочь ее была больше похожа... Вот что меня обрадовало немножко, вот что подавало мне хорошее мнение о вкусе мадам Антониади. Я не желал зла ни ей, ни мужу... За что же! Я в первый раз их видел... Я вовсе не желал бы узнать, что они живут между собой дурно и в раздоре. Нужно быть негодяем, чтобы радоваться несчастью чужой семьи... Я всегда чтил семью, и супружеский мир казался мне всегда одним из высших благ земной жизни... Пусть они уважают друг друга! Пусть они живут мирно и дружно, я очень рад... Но что ж мне делать!.. Я хочу быть правдив и откровенен, как на исповеди, в этом рассказе! Что ж

мне было делать! Она меня заинтересовала; она мне сразу понравилась, а муж и дочь, его напоминая, были мне вовсе не по вкусу... Поэтому в строгом замечании, которое мадам Антониади сделала девочке, я прочел что-то особенное... Какую-то, казалось мне, тонкую преднамеренность... Ведь защитить несомненную красоту посланницы она могла бы и другими словами, не говоря девочке, что она сама вовсе не будет красива. Положим, это полезно — «смирять» ребенка и убивать в нем рано зародыши гордости и тщеславия. Но сама молодая мать показалась мне с первого взгляда, с первых слов расположенною к тщеславию, и едва ли она была склонна к строгости с этой точки зрения.

Одним словом, мне как-то и почему-то понравилось ее несколько жесткое замечание дочери... Я поспешил взглянуть украдкой в сторону того, на кого дочь была похожа и которого тон в разговоре со мной был мне так не по душе. Он все стоял у другого окна рядом с мадам Калерджи и хладнокровно глядел, как вслед за новым посланником причалила к пристани лодка возвращающихся поверен-

ного в делах и всех других членов посольства. Они вышли все и исчезли за воротами.

Когда вся эта небольшая толпа людей в цилиндрических шляпах, во фраках и летних пальто поверх фрака исчезла из глаз, Антониади тихо повернулся на каблуках и, отойдя от окна, сказал спокойно:

— *Finita la comedia!*..

Жена его возразила ему слегка и с очень милым движением головы:

— Почему же комедия? Это слишком резко... Я нахожу, — продолжала она, — что пришествие русского посланника в Константинополь имеет слишком большое политическое значение, чтобы называть все это комедией. Я, напротив того, нахожу, что это все так величественно и вместе с тем так просто.

Она не кончила своей мысли и сделала только и рукою и головой премилое движение.

— Простое всегда величественно, — прошептала белая дама.

В первый раз мне пришлось согласиться не с ней, а с ним.

Я поспешил вмешаться в разговор.

— Нельзя согласиться ни с тем, что это комедия, ни с тем, что это величественно. Это именно очень просто, вот и все. Вот вы спросили у меня, чем мне нравится Восток; теперь я вам объясню это лучше. Восток живописен; Европа в самом дурном смысле проста. Посмотрите на все эти одежды, как штатские, так и военные, на эти цилиндры и кепи... Я не виню никого... За что же? Они все платят дань времени... «La simplicité»... Знаете эту скуку, «la simplicité»!.. Они вынуждены носить эти уродливые и смешные головные уборы, выдуманые во Франции. Они подчиняются тем убийственным (даже для развития у нас в России пластических искусств убийственным) вкусам, которые господствуют у нас со времен великого голландца Петра, искаживших образ и подобие Божие в русской земле...

— Вы не шутите! ваши выражения сильны, — перебила меня мадам Антониади.

Но я не хотел уже останавливаться.

— Я не только не шучу, я не нахожу слов отобилия мыслей, доказательств и примеров... Я затрудняюсь в выборе... Я понимаю величие вот как: когда Бёкингам представлялся Лудо-

вику XIII и жемчуг нарочно был пришит слегка, но во множестве к его бархатной мантии... и при каждом шаге и поклоне его сыпался на пол, и французские дворяне подбирали его... Или когда польское посольство, не помню при каком султানে, въезжало в Константинополь на лошадях, которые все были так слабо подкованы серебром, что эти подковы спадали с копыт... Это величие!..

Или когда я вижу теперь еще здесь на Востоке пеструю толпу этих людей не по-европейски одетых, я признаюсь, что я каждым проявлением души и ума в них невольно больше дорожу, чем несравненно более сильными чувствами и достоинствами, скрытыми под этим гадким сюртуком и сак-пальто... Эти символы падения, эта безобразная мода!.. Это — смерть, это траур!.. Вот мое мнение.

Все слушали меня внимательно. Антониади был серьезен и счел долгом заметить:

— Есть значительная доля правды в ваших словах... Восток еще живописен; это, впрочем, знают все...

При этих последних словах он сделал какой-то знак плечами и головой, как будто хо-

тел дать мне понять, что я говорю не новые, а очень известные вещи.

Уже почти взбешенный, я торопился возразить и начал так:

— Конечно, все путешественники надоели даже, говоря о живописном Востоке. Но дело не в маскараде каком-то, а в том, что европейская цивилизация мало-помалу сбывает все изящное, живописное, поэтическое в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть...

— Это очень смело, — заметила мадам Антониади.

— Mais c'est de la vraie poésie! Monsieur est poète! — томно пропела белая Кызлар-агаси.

Меня немножко покорило, и я, обратясь к ней, сказал вежливо, но очень сухо:

— Madame (не знаю, как перевести слово: madame. Положим — «сударыня»)... Сударыня, поэзия всегда истинна... Поэзия — это сама истина, облеченная в плоть.

Антониади молчал, но интересная кузина предложила мне вопрос, который заставил меня на минуту задуматься.

— Неужели вам в Турции все нравится, все без исключения? Это невозможно... — спросила она.

— Ах, да, да! — воскликнула madame Антониади, — вот интересный вопрос... Я жалею, что я сама не догадалась предложить его.

Я сказал, что вопрос этот заставил меня задуматься. Я знал очень хорошо, что именно мне не нравится на Востоке... Мне не нравилась тогда сухость единоверцев наших в любви. Мне ненавистно было отсутствие в их сердечной жизни того романтизма, к которому я дома в России с самого детства привык. С этой и только с одной этой стороны я был «европеец» до крайности. Я обожал все оттенки романтизма: от самого чистого аскетического романтизма Тогенбурга, который довольствовался только тем, что изредка видел, как вдали «ангел красоты отворял окно своей кельи», и до того тонкого и облагороженного обоготворения изящной плоти, которой культом так проникнуты стихи Гёте, Альфреда де Мюссе, Пушкина и Фета.

Ничего подобного я в среде местных христиан не видал и тем более в среде, которую

зовут почему-то «интеллигентною»... Скорее у горцев и простых горожан заметны проблески подобной поэзии; но она исчезает бесследно, как только болгарин, грек или серб снимает национальную одежду свою и начинает считать себя «образованным». Утрата бытового стиля и эпической простоты не вознаграждается на Востоке, как нередко вознаграждается она у нас глубиной и тонким благоуханием возвышенных чувств, которыми я дышал под дедовскими липами еще тогда, «когда мне были новы все впечатленья бытия». На место умолкнувшей и милой пастушеской песни не поется у христиан Востока блестящая ария страстной любви... Вот что мне не нравилось в Турции; вот что возмущало меня на Востоке и наводило тоску. Если бы к прелести и пестроте картины окружающих нравов возможно было бы прибавить потрясающую музыку страстных чувств и наслажденья живой и тонкой мысли, то мне казалось, что лучшей жизни нельзя бы было во всем мире найти.

Вот о чем я задумался даже несколько тревожно, когда мне предложили эти дамы весь-

ма естественный вопрос: «Неужели вам здесь все нравится, все без исключения?» Есть и другая сторона жизни, тесно связанная с вопросом о романтизме в сердечных делах: это вопрос о семье... Всякий знает, как отношения между христианскою семьей и сердечным романтизмом многосложны, противоречивы и вместе с тем неразрывны и глубоки. То дополняя друг друга в разнообразной и широкой жизни обществ истинно развитых и возводя семейный идеал до высшей степени чистоты изящества и поэзии, то вступая в раздирающую и трагическую борьбу, как в сердцах несчастной Анны Карениной и благородного Вронского, романтический культ нежных страстей и, быть может, несколько сухой с первого взгляда (я говорю: только с первого взгляда) спиритуализм христианского воздержания проникают духом своим издавна всю историю западных обществ, господствуя даже и в бессознательных сердцах, то в полном согласии, увенчанные благодатью Церкви, то вступая в эту страшную и всем нам так близко, так болезненно знакомую коллизию, в ту коллизию, которой и драма, и поэзия, и ро-

ман, и музыка, и живопись обязаны столькими великими и вдохновенными моментами...

На Востоке, у христиан образованного класса я этого ничего не видал... В их сердечной жизни нет ни пафоса, ни музыки, ни грации, ни ума; я встречал у них только две крайности: или сухую нравственность привычки и боязни, или тайный, грубый и бесчестный разврат...

Для меня все это было уже давно ясно; все это было обдуманно давно, подведено в уме моем под те ясные границы, чрез которые, положим, жизнь всегда переступает тонкими оттенками, но без умственного начертания которых невозможно было бы ни мыслить, ни наблюдать, ни даже говорить серьезно с другими людьми.

И вот, пользуясь тем, что для меня все это было уже ясно, что всему были найдены уже в уме моем место и степень заслуги, — я бы мог все объяснить безобидно, толково, может быть, даже и с некоторым блеском, если бы дал себе волю высказать все и если бы остался верен сам себе и своему внутреннему миру. Я бы мог начать чуть не целую диссертацию,

занимательную, живописную и правдивую, если бы не заразился несколько от большинства посольских знакомых моих тою сдержанностью речи и тою, иной раз искусственною бедностью мысли, которою они подчас даже щеголяли да!., щеголяли; потому что, наверное, многие из них были умнее и серьезнее, чем казались, и понимали гораздо больше, чем хотели высказывать... Светская осторожность, иногда даже своего рода светское остроумие заставляли их показывать меньше чувства и мысли, чем у них было на самом деле; или, еще точнее выражаясь, у многих из этих дам и кавалеров один род ума, более язвительный или более мелкий, изгонял или заключал в оковы другой род, — род более задушевный и серьезный. Серьезность свою мужчины берегли для службы, а дамы для минут некоторого «abandon» с друзьями или с теми, кто им особенно нравился. Все это я так долго и подробно объясняю для того только, чтобы сказать, что я в этот раз поступил ужасно бестактно, чтобы сознаться, как я грубо ошибся, именно тем, что не остался верен себе и не начал длинного рассуждения, которое

удовлетворило бы, может быть, до известной степени всех и никого бы не оскорбило! Но я по какому-то роковому движению души вдруг вздумал быть сдержанным и кратким и на повторенный дамами вопрос: «Что ж вы задумались? Что вам на Востоке не нравится, скажите?» ответил с неуместным на этот раз лаконизмом так «Мне ужасно не нравится христианская семья на Востоке »

Сказал эту глупость и замолчал.

— Ah! c'est bien drôle' — воскликнула кузина несколько сухо.

Антониади ровно ничего не сказал, но глаза у него сделались злые. Мадам Антониади с удивлением заметила: «Мне кажется, напротив, если есть что-нибудь очень рошее на Востоке, так это именно чистота семейной нравственности... Не правда ли?» — спросила она, обращаясь к мужу.

Антониади с чуть заметною улыбкой ответил на пожимая слегка плечами «О вкусах спорить нельзя.»

Я чувствовал, что он мог думать о чем-то несравненно худшем, чем странный вкус, мог счесть меня до невозможности безнравствен-

ным человеком, не пустить к себе в дом. Я опомнился, догадался, что начал совсем не с того конца, и поспешил поправиться:

— Позвольте, уговоримся прежде; entendons-nous... Я начну, извините, издали... Когда я в критской деревне или в Балканах вступаю на глиняный пол греческой или болгарской хижины, то вид этой почтенной, солидной и вместе с тем поэтической семьи...

Я хотел было продолжать так: «Я исполняюсь почти благоговения пред непритворною, наивною чистотой их нравов, пред их религиозным чувством... Вся эта простодушная, высокая святыня домашнего очага, в соединении с своеобразными нравами и прелестью картинного быта, действует на меня почти так же, как действует храм... Я сам становлюсь строго нравственным человеком, и...»

Но судьба решила иначе! Я даже и этого не успел сказать... Я едва успел вспомнить все это; эти образы и воспоминания едва успели мелькнуть в уме моем, как вдруг раздался в прихожей шум шагов и говор нескольких людей. Хозяин квартиры громко кричал слуге своему: «Эй, Кеворк... завтракать! завтракать!»

Ради Бога, завтракать, мы голодны как собаки!...»

— Кеворк, ах, любезный Кеворк! — раздался голос злого Блуменфельда... — Любезный Кеворк!.. Это правда, что мы голодны. Пожалуста, накормите нас!..

Прием у посланника был кончен, и казначей зазвал к себе еще нескольких человек на завтрак.

Не скрою, я был уже раздосадован, что мне как нарочно не дали кончить мою «диссертацию», полудидактическую, полуоправдательную и, сверх того, я еще был несколько испуган во глубине моего сердца... Я боялся, чтобы которая-нибудь из этих дам не возобновила этого разговора в присутствии наших дипломатов (и особенно при Блуменфельде). Я боялся, чтобы мне не пришлось выбрать одно из двух: или вынести кротко какие-нибудь дерзкие насмешки, или, не уступая ни шага, довести дело до какого-нибудь резкого столкновения, после которого могли бы даже и в Петербурге сказать: «С ним нельзя дела иметь. Он не только оскорбляет чиновных иностранцев; он и со своими доходит до всевозможных

крайностей». Но, одушевленный присутствием женщины, которая мне начинала нравиться, я, подумав немного, решился в случае какой-нибудь необходимости предпочесть опасный путь дерзости — постыдному, мне казалось тогда, ресурсу уступчивости и добродушия.

Решившись на это, я успокоился и тотчас же опять повеселел.

VI

Мы слышали только голоса хозяина нашего и Блуменфельда; но кроме их в гостиную вошло еще трое гостей: неизбежный наш Несвицкий, Нагибин, тот самый молодой чиновник почтового русского ведомства в Царьграде, который сшил мне платье, и третий тоже очень еще молодой вице-консул наш в Варне, просто Петров. Вячеслава Нагибина я уже описал в нескольких словах.

Петров был человек совсем другого рода. Он был пламенный панславист; для России охранитель, революционер для Востока, вечно занятый болгарскими или сербскими делами; горячий, стремительный, прямой до

неосторожности (это он сказал, при дамах, на обеде, что только свиньи ездят в Париж); со всеми фамильярный, почти без различия звания и чина; нервный, худой и бледный, одетый всегда небрежно, как попало, он, казалось, ничего вокруг себя не замечал и почти не хотел знать, кроме политических интересов и политических дел. Волоса у него были всегда острижены под гребенку и приподняты щеткой; он был постоянно возбужден, постоянно как бы вне себя; говоря, то наступал на собеседника, то отскакивал от него, широко раскрывая глаза низлагая свои любимые мысли бесстрашно, пламенно, часто слишком даже нерасчетливо-прямо; вот каков был Петров.

Турки любили его за доброту и простоту обращения, но постоянно жаловались, что его пармак (палец) везде где не надо, и уверяли, что он чуть не с тарелкой ходит собирать на восстание христиан и т. д.

Петров делал множество ошибок, но зато был незаменим во многих случаях; в среде христиан он был чрезвычайно популярен, и начальство принуждено было многое ему

прощать. С течением годов характер его выровнялся; он устоялся, достиг высших должностей, и его имя останется навсегда в истории последних дней Оттоманской Империи.

Но в это время над ним много подтрунивали товарищи; он только что поссорился с пашой из-за одной пленной славянки, которая его обманула, по согласию с турками; приехал в Царьград жаловаться и хлопотать об удовлетворении; удовлетворения ему не дали и основательно признали его неправым. Легкомысленные товарищи смеялись над его пылкими и сентиментальными отношениями к «угнетенным братьям-славянам» и сочинили — будто одно из его донесений начиналось так:

«Милостивый государь, Ее имя было Милена! Она была сирота...»

Петров горячился, отбивался, ссорился, но все так прямодушно, честно и просто, что его продолжали любить и уважать.

Все четверо — Блуменфельд, «вестовой», Петров и Вячеслав, вошли в гостиную вслед за хозяином.

Блуменфельд с первых минут уже обнару-

жил свою придирчивость. Когда хозяин дома представил Вячеслава Нагибина мадам Антониади и ее белой с красным подруге, Блуменфельд не мог оставить в покое молодого человека и тотчас же вслед за хозяином, сказавшим просто: «Monsieur Нагибин!» воскликнул: «известный всем более под именем l'irrésistible boyard russe Wenceslas...»

Скромный боярин ничего на это не возражал,

Потом Блуменфельд обратился ко мне и с видом особенно стремительным сказал:

— А! молодой человек, и вы здесь... Очень рад, очень счастлив...

На это я ничего не ответил, но тотчас же «вооружился» внутренне и сказал себе: «Я сам его первый затрону...» И ждал случая.

Завтрак был оживленный. Хозяин сам ел много, пил и нам всем подливал хорошего вина.

Несвицкий сел около мадам Антониади и очень скучным тоном, как всегда, начал что-то тянуть про встречу нового посланника, про знатное родство и генеалогию его супруги и про то, кому и как ехать в Порту для ис-

полнения некоторых формальностей; идет теперь спор: первый драгоман посольства говорит, что он едет в Порту и берет с собой первого секретаря; а первый секретарь, на основании точных справок у Мартенса, Валлата, Пинейро-Фер-рейро и других, доказывал, что в Порту едет он, первый секретарь, и берет с собой первого драгомана.

Я ничего не имел против этих формальностей; но раздушенный «вестовой» умел придать всему, до чего он только ни касался, такую несносную пустоту и скуку, и солдатское лицо его представляло такой неизящный контраст с галантерейным ничтожеством его речей, что не только я, но и сам лукавый проstack хозяин наш вдруг прервал его возгласом:

— А! Ба! *Voyons!* Оставим это... все эти дьявольские формальности... Я замечу с моей стороны, что новая посланница прекрасна...

— У нее профиль камеи, — сказала его почтенная кузина.

Хозяин обратился к Blumenфельду:

— А вы, угрюмый человек, оставьте вашу суровость и скажите нам что-нибудь... что-нибудь приятное, любезное, интересное... Как

вы умеете, когда вы в духе... Скажите даже что-нибудь злое, если хотите...

Блуменфельд улыбнулся и отвечал:

— Я скажу нечто любезное, а не злое. Ваш армянин делает прекрасные котлеты... Я так ими занят, что не нахожу времени ни для чего другого...

— Кто и что вам больше всего понравилось при сегодняшней встрече? — спросила у Bluменфельда мадам Антониади.

Блуменфельд усмехнулся и сказал:

— Мне больше всего понравилась маленькая китайская собачка...

Все засмеялись.

«Вестовой» поморщился; он был недоволен, что хозяин и Bluменфельд прервали таким вздором его глубокие рассуждения о дипломатических церемониях... Потом спохватился и, принужденно улыбнувшись, начал рассказывать об этой самой собачке.

— Да, эта собака историческая. Когда союзные войска взяли Пекин и Китайский Император, как известно, бежал в Монголию, — во дворце не нашли ни души... Только маленькие собачки бегали по залам и лаяли. Одну из

таких собачек...

Но Blumenфельд, насытившись котлетами, уже опять с двусмысленным взглядом и с раздражающею улыбкой взглянул в эту минуту по очереди на меня и на Нагибина.

Я снова готовился защитити боярина Вячеслава или дать отпор за себя, но он почему-то заблагорассудил оставить нас пока в покое; я спрашивал себя, на кого он теперь накинется. Жребий выпал Петрову.

— А! Петров, я забыл вам сказать новость. В канцелярию пришла бумага из Порты: турки требуют белье Милены, которое осталось у вас в чемодане...

Добрый и умный Петров не сконфузился и отвечал очень просто:

— Неужели? Они требуют?.. Ну, что же... Я все доставлю. Там, кажется, лишь несколько платков и два фартука...

— Вы бы хоть один платочек сохранили на память, — сказал Blumenфельд как только мог нежнее.

— На что мне платок, — возразил Петров, — я и так этой истории не забуду; я чрез нее имел столько неприятностей! Разве мож-

но забыть, когда со стороны своих русских ничего не видишь, кроме предательства... Если бы меня поддержали вовремя, то все бы кончилось хорошо...

— Je demande une réparation éclatante! — воскликнул Blumenфельд с комической важностью.

Петров ничего не отвечал на эту последнюю выходку и, желая, вероятно, переменить разговор, обратился к хозяину с вопросом:

— Я давеча поутру забыл у вас несколько болгарских книжек, связанных вместе... Где они? Мне они очень нужны...

Хозяин указал на окно, где лежала связка... Но Blumenфельд не унимался:

— Отдайте, отдайте их скорее Петрову. Очистите поскорее воздух вашего жилища... «Български чйтанки»... «Български чйтанки»... Не правда ли, какой благозвучный язык этих братьев-славян...

Мне захотелось поддержать Петрова; я вмешался и сказал:

— Это правда, что все эти языки, и сербский, и чешский, и даже польский, нам с непривычки кажутся чуть не карикатурами

на русский... «Стрелять — пуцать»... «Человек, чилекот»... Конечно, это смешно. Но надо определить все это точнее и отдать себе ясный отчет. Звуки других языков, совершенно нам чуждых по корню... не могут так оскорблять наш слух... например, французский, турецкий или греческий... Хлеб — экмек, псоми, du pain... Здесь мы встречаемся со звуками, совершенно новыми, которые могут показаться странными, но ничего смешного или глупого не могут нам представлять.

Нетерпеливый Петров, которого я вздумал защищать, вдруг перебил, напал на меня и начал обвинять меня в расположении ко всему иностранному, в какой-то «великосветской», как он выразился, причудливости вкусов.

— Это один предрассудок, женский каприз: почему «пуцать» хуже, чем «стрелять» — я не знаю... Это распущенность ума, кокетство, вроде женского!.. — выходил он из себя... расширяя на меня глаза, как будто он хотел перепрыгнуть через стол и растерзать меня...

— Постойте, — сказал я, — постойте, дайте мне уяснить мою мысль...

Но в ту минуту, когда Петров обвинял меня в великосветских претензиях и умственном капризе, Блуменфельд, найдя, что я предаюсь педантизму и довожу основательность моего тона до смешного, не дал мне договорить и с лукавым взглядом, наклоняя немного голову набок, произнес насмешливо, не своим голосом, с какою-то особенною грацией, как какая-нибудь плохая дама, растаявшая пред плохим писателем:

— Отчего же вы обо всем этом не напишете диссертации, статьи, этюда, молодой человек... очерка, чтоб это все определить точнее и отдать ясный отчет, если не другим, потому что это невозможно, то хоть самому себе...

Это было слишком! Прошла минута молчания, и я ответил на это так:

— Теперь я занят другим. Я хочу написать что-нибудь о жизни в Буюк-Дере и описать вас... Знаете, как нынче пишут: «Дверь отворилась. Вошел молодой человек высокого роста и с небрежными движениями; лицо его довольно, впрочем, приятное, несмотря на частые улыбочки, выражало какую-то скуку и претензию на разочарование и пренебреже-

ние ко всему... Хотя никто не мог понять, какие он на это имеет права...»

— Это недурно, — заметил Блуменфельд, немного краснея. — А как же вы меня назовете... Пожалуста, не нужно этого немецкого фельд. Я хочу русскую фамилию...

Я нашелся:

— Надо, однако, чтобы что-нибудь напоминающее хоть цветы... Блумен... Блумен... Ну, хорошо, я назову вас по-русски Пустоцветов!

Все опять засмеялись, но гораздо неудержимее и громче, чем тогда, когда Блуменфельд сострил про собаку.

Лицо Блуменфельда потемнело от досады, но он, впрочем, вышел из этого очень умно и просто. Он сказал по-товарищески и вовсе не сердито:

— Ах вы! Как вы смеете мне такие вещи говорить... Погодите, я вам после за это задам.

(Я думал, что тем все и кончится, но Блуменфельд после этого долго избегал говорить со мной.)

Я взглянул мельком в сторону мадам Антониади и прочел на лице ее тихое и дружеское одобрение...

Я был вне себя от радости, и мысль, что сердитый Блуменфельд, который был, конечно, не робкого десятка, пришлет мне секунданта, хотя и представилась моему уму тотчас же, но ничуть не смутила меня. У меня в то время было какое-то мистическое (хотя и вовсе, каюсь, не православного происхождения) чувство, что меня хранит для чего-то высокого невидимая и Всемогущая сила... и все будет служить моим выгодам, даже и опасности...

Завтрак кончился, но приятное возбуждение у всех только усилилось после него за чашкой кофе; образовались группы: хозяин, Антониади, Петров и камер-юнкер спорили о будущем Турции и в особенности Босфора. «Боярин Вячеслав» занялся (на мое счастье) девочкой Антониади и показывал ей у стола картинки в кипсеке. Около них пристроился сентиментальный белый евнух в юбке и тоже глядел в кипсек. Я желал, чтоб она подошла и села бы около меня, но не смел надеяться на такую отважность со стороны гречанки или, вернее сказать, жены грека. Однако и эта почти несбыточная и мгновенная мечта моя

тотчас же осуществилась.

Блуменфельд «толкнулся» было к ней и что-то спросил у нее, но она, ответив ему очень любезно слова два, отошла и села опять на том же кресле, у того же окна, где сидела пред завтраком. Я забыл сказать, что я нарочно подошел еще прежде к этому самому окну. О чем мы говорили с ней под шум веселых голосов, не знаю.

Я помню свое чувство, веселое, праздничное, победное и мечтательное; я помню ее взгляды... Слов почти не помню... О «любви» мы, конечно, и не говорили... Мы говорили, я помню, о совсем посторонних предметах, быть может, даже о самых сухих... Но беседа наша была похожа на пустое либретто восхитительной оперы, на ничтожные слова прекрасной музыки чувств...

Из слов я помню очень немногие... Я помню только вот что из нашей беседы:

— Вы хвалите Восток, — сказала она, — а я терплю здесь большие умственные лишения. Одесса в России считается торговым городом; однако там университет, библиотеки... там есть умственная жизнь, а здесь этой жизни

нет и мне очень скучно...

— На что вам университет... — воскликнул я с удивлением. — На что вам библиотеки... Я бежал ото всего этого и счастлив. Книги хорошие и здесь можно найти... Но вы напрасно думаете, что в местах более, так сказать, ученых больше мыслят... Почитайте газеты наши... Разве это мысль... Думайте сами больше, если это вам приятно...

— Однако! — возразила она робко и почти с удивлением.

Долго ли мы говорили или нет, я, право, не помню. Я помню дивный вид из окна, ветерок с пролива, благоухание ее одежды, ее глаза, шум голосов вокруг и даже крики в спорах... Я слышу и теперь еще всегда влачащуюся речь Несвицкого, который говорил:

— Что касается меня, то я нахожу, что Босфор должен считаться международным портом в самом широком смысле этого выражения. Что мне за дело, если будет принадлежать Босфор грекам, англичанам или никому, — лишь бы развели как можно больше садов, чтобы сделали хорошую мостовую, чтобы была хорошая опера, цирки и публичные лек-

ции... Чтобы можно было, например, слушать популярные чтения физики и химии с опытом... Помните этот милый анекдот про химика Тенара и про герцога Орлеанского? «Теперь эти два газа, кислород и водород, будут иметь честь соединиться в присутствии вашего высочества...»

Эту речь я слышал ясно, потому что при моих антиевропейских культурно-патриотических мнениях она была ударом кинжала в мое сердце, но я и на нее решился не возражать, несмотря на физическую боль, которую мне причиняли подобные мысли русских людей, — до того я был занят ею в эту минуту. Далее ничего не помню из нашей беседы у окна...

Все наконец стали расходиться; ушел и я. Я видел, как супруги Антониади вышли под руку; видел, как они наняли на набережной каяк.

Маша села первая; муж поднял дочь и передал ее жене, потом спустился за ней сам и сел с ней рядом на дне каяка.

Сильный каякчи ударил веслами, и они скоро удалились от берега.

Я долго глядел им вслед, и мне целый день после этого было очень скучно.

VII

И на следующий день мне опять было как будто грустно. Я все думал о ней.

Как познакомиться с нею покороче? сделать или не сделать ей визит? Ни она сама, ни этот ледяной ужасный муж ничего мне не сказали об этом. А между тем я что-то чувствовал, что-то прочел в ее взглядах, в ее недосказанных словах, в ее движениях. Мне казалось, что во всем этом есть нечто большее, чем простое желание видеть меня у себя в доме... Но как она мила и свежа и как он несносен! Как он прилично, опрятно, казенно ужасен! Я видел таких бледных восковых кукол с приделанными черными как смоль бородами.

Я, кажется, уже говорил, что не имел никакой определенной и непременно безнравственной щели. Я заранее готов был отречься от полной победы. Я не стану в этом рассказе ни очернять, ни оправдывать свое давнее прошлое, на что это? Я не стану унижать

себя нравственно чрез меру и не стану возноситься. Я не был тогда каким-нибудь невинным, чистым и «духовным» юношей, но не был и во всех случаях безнравственным человеком. У меня были правила личной чести; у меня было великодушие, у меня было желание наслаждаться «поэзией жизни», не причиняя никому страданий и обид, даже, если возможно, не оскорблять и восковую куклу с «приклеенною черною бородой».

Скажу еще проще, я был по природе добр и если б я знал наверное, что мои сношения с мадам Антониади расстроят семейное счастье ее мужа, то я ни за что не пошел бы к ней. Но с другой стороны, мне до того хотелось изящных наслаждений, меня так сильно и почти ежеминутно томили жажда новых впечатлений и какое-то бого-творение полуплотской, полуидеальной любви... Мне так вздыхалось часто, так нравились любовные стихи... Я с таким невыразимым восторгом перечитывал и повторял наизусть то Пушкина, то Фета:

Свеж и душист твой роскошный венок...

Вот что мне было нужно, вот чего я искал, вот о чем думал в свободные от дел часы! В

Маше Антониади было именно то, что мне было нужно. В ней было нечто такое, что меня томило; в ней как будто таилось что-то изящно-растлевающее, нечто тонко и сдержанно безнравственное, нечто едкое и душестное, доброе и лукавое, тщеславно милое, — одним словом, что-то такое, что заставляло меня глубоко «вздыхать», вздыхать счастливо, вздыхать от той сладкой сосредоточенности, которая теснит грудь и открывает пред влюбленную мыслью бесконечные и восхитительные, в самой неясности своей, перспективы...

Так вздыхал я в этот день, бродя по набережной Буюк-Дере. В этот час еще не играла тут музыка и не начиналось ежедневное «европейское» гулянье, которое я терпеть не мог, не находя в нем ни личного интереса, ни той живописной и этнографической, так сказать, прелести, которая восхищала меня в истинно народных скопищах Востока. Круговая пляска болгарских мужиков под резкую музыку волынки или толпа задумчивых и пестрых турок, провожающих мертвое тело какого-нибудь собрата своего на кладбище, где многие

сотни белых мраморных столбов, увенчанных чалмами, теснятся, как привидения, в густой и безмолвной роще исполинских кипарисов, — казались мне гораздо благороднее и многозначительнее этого «европейского» снования цилиндров и жакеток туда и сюда, взад и вперед по одному и тому же направлению, под звуки вальсов, пустых кадрилией и слишком уже знакомых оперных отрывков, напоминавших мне ненавистный и тошный Петербург, из которого я бежал в Турцию, чтобы хоть здесь скрыться от этого наносного и одуряющего «прогресса».

И вот я ходил по пустой набережной и «вздыхал». Воздух был жаркий и тяжелый; ветер дул с юга, и синие волны Босфора пенились и кипели. Я не знал, что мне делать с бездельем своим, как вдруг из переулка вышла моя седая и столь уважаемая мною мадам Калерджи. Она шла к кому-то с визитом; она шла своею удивительно красивою и благородною поступью, на которую я всегда так любовался. Она издали первая поклонилась мне с приветливою улыбкой. Я счел ее в эту минуту посланницей небес: она лучше всяко-

го другого могла разрешить мои сомнения насчет того, делать ли мне визит супругам Антониади или нет?

Я подошел к ней и, еще раз почтительно поклонившись, предложил ей руку.

Она сказала мне, куда ее вести, и, к счастью, я услышал, что расстояние будет настолько велико, что мне можно будет объясниться с нею.

Опершись на руку мою, эта милая женщина обратилась ко мне с самым ласковым, дружески насмешливым выражением лица и сказала коротко и выразительно: «*Seul, avec sa pensée!*»

— Да, — отвечал я ей, — вы угадали: *seul, avec une pensée...* С одною мыслью, с одним тяжелым сомнением, которое вы, именно вы лучше всякого другого человека можете разрешить.

— Что такое? Боже мой, что такое? — спросила она с притворным и веселым страхом.

— Вот беспокоюсь, колеблюсь и т. д., делать ли мне визит супругам Антониади или нет?.. Они мне ни слова не сказали, ни тот, ни другой; но ведь нас познакомили, и она была

довольно внимательна ко мне; а он?., ну, он был только вежлив; впрочем, я заметил на завтраке, что он со всеми таков.

Седая красавица моя задумалась и опустила на минуту глаза вниз.

Я чувствовал, что не ошибся в ней и что каяться не буду в том, что обратился к ней так прямо. Ни намека, ни нескромного вопроса, ни улыбки бестактной или недоброй!.. Она тотчас же поняла в чем дело, и поняла, что я желал бы серьезно отнестись к этому, по-видимому, несерьезному делу, и поступила именно так, как я того желал и как сам счел бы долгом на ее месте поступить с другим. После всех этих неизбежных и все-таки не совсем приятных шуточек наших посольских кавалеров и дам ее прием казался мне небесно добрым и рыцарски честным.

Ни намека, говорю я, ни улыбки, ни вопроса!

Она задумалась и опустила глаза.

С благоговением я ждал.

Она подняла на меня светлые, честные, но очень зоркие очи свои и сказала серьезно:

— Сделайте визит... Сделайте визит дня че-

рез два-три, потому что они теперь уехали в гости на Принцевы острова. Я и без того хотела вам сказать, что мадам Антониади в восторге от вас и не скрывает этого. Не скрывает даже и от мужа. Она восхищается вашим умом, вашим красноречием. Она узнала все подробности той истории, благодаря которой вы живете здесь, и называет вас паликаром. Этот удар хлыста! этот возглас: «Et vous n'êtes qu'un triste européen!» в ответ на крик оскорбленного противника «misérable!» — Это, говорит она, так своеобразно, так дышит крепким убеждением. Это крик души: «Vous n'êtes qu'un triste européen!..» Я повторяю ее слова...

Я молчал несколько секунд, подавленный счастьем; потом спросил:

— А муж?

— Ах да, муж! — сказала моя фея с серебряными волосами. — Муж... Он и доволен, и недоволен, даже очень недоволен вами, как грек, и грек России не враждебный... Знаете, он кажется не глуп; он англоман в привычках, а в политике руссофил; ведь это очень умно, не правда ли?

— Еще бы. Чрезвычайно умно! — восклик-

нул я... — Что ж дальше? Я слушаю... Я весь внимание...

— Ну, вот что из этих вкусов ясно, как он должен к вам отнестись: как грек очень хорошо, как муж — прескверно...

Я невольно остановился и в недоумении спросил:

— Почему ж?

— Разве это не ясно? что вы проговорили про семью христианскую...

— Да! эти несчастные слова мои; они меня до сих пор мучат. Если б я мог предвидеть, что меня так скоро прервут и не дадут мне изложить пространно мой взгляд, то я ни за что бы этого не сказал! Я вас умоляю, позвольте мне вам теперь все это объяснить. И если вы найдете, что в моих словах есть доля истины, оправдайте меня пред ними.

И я постарался изложить ей как можно осязательнее все, о чем я тогда, пред завтраком едва успел подумать и вспомнить. Мадам Калерджи выслушала меня со вниманием и нарочно замедлила свой шаг. Когда я кончил, она сказала:

— Вы сами виноваты, что начали с конца.

Теперь переносите наказание за вашу ошибку. Антониади как муж, повторяю, негодует на вас, но как грек, как ваш единоведец, понимаете, он очень доволен вашим поступком с известным вам «печальным европейцем». Об этом ведь так много писали в греческих газетах, и ваше имя в греческой печати известнее, чем вы думаете. Он не любит ту нацию, представитель которой пострадал от русской руки... Поэтому подите все-таки и сделайте им визит. Он примет вас внимательно и сам, конечно, отдаст вам его.

— Я пойду дня чрез три, но как же вы так изучили его мнение обо мне? — спросил я с любопытством.

— Я не изучала. Он сам все это говорил. Он при мне вчера, в одном доме просто ужасался вашей заметке о семье и говорил даже: «с'est inouï»... «с'est souverainement immoral ce que ce jeune homme a la hardiesse de prêcher...» А ваше дело с ***, ваш «удар хлыста» хвалил и рад, что начальство ваше выдает вас не вполне, а только отчасти...

Мы были уже близко от дома, куда она шла, но она была так снисходительна, что

продолжала идти все тише и тише, полагая, что я имел еще что-нибудь сказать.

Но я был уже погружен в безмолвие тихого блаженства... И, с чувством пожав ей руку, простился с ней у ворот богатого армянского дома...

Я прожил после этого два дня в приятном ожидании и мне уже не было теперь скучно. На третий день я должен был сесть на пароход и ехать в город, чтобы сделать им визит.

Но все мечты мои, вся моя радость резлетелись в прах! Я был человек подневольный. На второй день вечером меня призвал начальник и сказал:

— Собирайтесь непременно завтра в Адрианополь. Консул Богатырев ждет вас с нетерпением; ему необходимо сейчас ехать в отпуск. Он умоляет меня не задерживать вас. К тому же это и для вас выгодно: вы сейчас же вступите в управление консульством, и ваши противники, понимаете (он показал с улыбкой, как бьют хлыстом), увидят, что мы исполнили против них весь долг дипломатической вежливости, перевели вас, как будто в угоду им, из места столкновения в другой го-

род; но вместе с тем не выдали вас, потому что тотчас же поручили вам очень серьезный пост. Вы понимаете, что совершенно без уступки, хотя видимой, нельзя. Всякий русский может быть рад, что вы его съездили (чтоб он не смел русским грубить); но ведь нельзя открывать новую эру дипломатии побоев на основании вашего прецедента, который лично, положим, может все-таки нравиться. Держите русское знамя высоко; я буду, верьте, помогать вам; но постарайтесь не прибегать уж слишком часто к таким *voies de fait*...

Я был и обрадован, и немного смущен этой речью молодого и молодцоватого нашего начальника: тут было столько и лестного, и ободрительного, и слегка насмешливого, и повелительного, и товарищеского.

Я, краснея, поклонился и пошел собирать.

Службой своею я дорожил; скажу яснее: я ужасно любил ее, эту службу, совсем не похожую на нашу домашнюю обыкновенную службу. В этой деятельности было столько именно не европейского, не «буржуазного», не «прогрессивного», не нынешнего; в этой

службе было тогда столько простора личной воле, личному выбору добра и зла, столько доверия со стороны национальной нашей русской власти! Столько простора самоуправству и вдохновению, столько возможности делать добра политическим «друзьям», а противникам безнаказанно и без зазрения совести вредить!.. Жизнь турецкой провинции была так пасторальна с одной стороны, так феодальна с другой!..

Итак, я уехал из Царьграда и не успел ей сделать визита. Я хотел служить хорошо, хотел наслаждаться борьбой за русскую идею на Востоке, и, конечно, в эту минуту наш посланник, сам молодой, сам лихой и чрезвычайно ласковый и умный, был мне нужнее загадочной и лукавой этой Маши, полугречанки, полурусской...

Я спешил повиноваться и уехал, не выдав ее больше. Но всю дорогу я беспрестанно думал о ней и пожимал плечами с удивлением:

«На что такая ненужная встреча? такой мгновенный просвет незрелого чувства; такие пустые и бесследные вспышки бесполезного огня?» Из взглядов ее, чуть заметных, по-

ложим, из чего-то еще очень тайного, очень издалека ободряющего в словах и едва уловимых движениях (я не могу даже выразить всего этого), и еще более из рассказов мадам Калерджи о том, что она восхищается мною, я видел, что эти мгновенные просветы были не в моей только душе, но и в ее, что огонь загорелся не во мне одном, но и в ней, быть может, еще больше...

Так ехал я верхом по скучной степи южной Фракии и думал: «На что это?» Я думал об этом, завернувшись в бурку под осенним дождем; я вспоминал о ней на ночлегах в грязных ханах; я видел, как она входит в церковь, как она идет мимо белой стены посольского сада, как она держит дочь обнявши, сидя у окна... Я помнил ее ленты, ее позы, ее перчатки, ее голос и опять спрашивал себя: «На что все это?»

Наконец мне показалось, что я понял! Дождь перестал лить. Осеннее солнце снова тепло и весело освещало мелкую, сырую зеленую травку на пригорке, где мы с цыганом-суруджи[3] и турецкими жандармами остановились на минуту, чтобы дать вздохнуть ло-

шадям. Я сошел с лошади и ходил взад и вперед. Эта сырая зеленая трава напомнила мне родину. И вдруг представился мне один островок посреди круглой сажалки в заброшенном и опустелом дедовском имении. Я гулял однажды совсем еще юношей по этому забытому саду, в мае месяце, и увидел, что на этом острове в чаще густого и грубого лозняка цветет куст черемухи... Осыпанный белыми цветами, он Цвел и благоухал в этой чаще; я его видел, но ни я, ни кто другой дойти до него не могли: на болотистой заброшенной, но глубокой еще сажалке не было ни плота, ни мостика, ни простой перекладины... Черемуха цвела как будто сама для себя; я не мог дойти до нее и ни разу после того я не видал ни этого сада, ни этого имения, ни сажалки этой, ни цветущего куста; но я не забыл его и не могу забыть... И только...

Вот так и эта милая женщина останется навек в памяти моей; я ее больше, вероятно, и не встречу, но образ ее будет благоухать и цвести в моем воображении, как цветет до сих пор в нем этот только издали мною виденный куст душистой черемухи!..

VIII

В Адрианополе я стал забывать о ней. Мне было некогда; иных впечатлений было так много, что думать часто о молодой женщине, которая явилась предо мной только как «ми-молетное виденье», было невозможно и неестественно. К тому же я был не только очень занят, я был доволен, постоянно возбужден и вместе спокоен духом.

Я давно мечтал жить в Турции, на Востоке, и вот мечты мои исполнились: я в Турции. Я хотел видеть кипарисы, минареты и чалмы: я вижу их. Я хотел быть дальше, как можно дальше от этих ненавистных, прямых, широких улиц Петербурга... я был далеко от них.

Занятия мои были мне по вкусу — неспешные, обдуманнные, по смыслу не пустые, с легким и приятным жалом честолюбия... со щитом патриотического долга...

Ответственность на мне лежала большая; я был один русский на целую обширную иноземную область с населением смешанным, политически впечатлительным. Мой молодой начальник Богатырев уехал на родину в

Москву, в отпуск; я управлял за него очень долго. Мне нужно было ежеминутно бодрствовать и трудиться. О службе моей я здесь рассказывать не буду; скажу только, что мной были довольны, и когда Богатырев, возвращаясь из Одессы, проездом был в посольстве, то сам посланник сказал ему полушутя за обедом:

— При вас было хорошо, но и без вас у Ладнева не хуже.

На это Богатырев великодушно отвечал:

— Я готов сам о нем на крышах кричать!

Месяцев через десять Богатырев возвратился и принял снова все дела в свои искусные и опытные руки. По возвращении его жизнь моя совсем переменилась. Ответственности уже не было при нем; заботы меньше; нужно было только помогать ему, исполнять его волю. Я меньше стал думать о подробностях службы, о мелочах текущей политики; я больше сосредоточился в самом себе, в жизни моего одинокого тогда сердца и в мире моей фантазии, в то время еще необузданной и смелой. И мне опять было и так сначала хорошо, пожалуй даже лучше... Я умел быть дея-

тельным, предприимчивым и заботливым, когда того требовал мой долг и мое самолюбие (все это знают), но жизнь созерцательная и свободное мышление мне еще больше нравились... Я понимал всем сердцем прежнего турка, воинственного и вместе с тем ленивого, который, вставая с широкого дивана, садился бодро на коня и мчался в далекий набег, где терпеливо переносил жестокие лишения, но возвратившись домой, опять спускался на этот «цветной диван» и «в дыму кальяна» думал свободно свою тихую думу, о чем хотел и как хотел.

Да, мне сначала эта жизнь понравилась... Исполнив в канцелярии все то, что требовала от меня служба, я уходил домой, предоставляя Богатыреву заботиться о том, чтобы знамя русское стояло во Фракии честно и грозно. Как гражданин я был спокоен; я знал, что Богатырев еще гораздо лучше меня будет держать это знамя чести, потому что он был молодец.

Я только что нанял себе квартиру. Пока Богатырев был в долгом отпуску, я жил у него в консульстве. Теперь я завелся своим хозяй-

ством. Жилище мое мне очень нравилось... Оно совсем было не похоже на доводившие меня до отчаяния белые и желтые европейские Дома, в шесть этажей и с медными дощечками на дверях соседей, вовсе не знающих друг друга... Дом моего старого турка в белой чалме, сердитого и с красным толстым носом, был совсем иной; он был небольшой, двухэтажный, снаружи выкрашенный темно-красным цветом, с двумя галереями внизу и вверху. Всё маленькие комнаты рядом, и двери все на галереи; перед домом двор, как цветник, убранный мозаичными дорожками из серых, белых и черных камешков, и по бокам дорожек все стриженные мирты кругами и изгибами. Между этими миртами цвели желтый фиоль и фиалки во множестве раннею весной (когда у нас в России еще снег и холод), благоухали по всему двору, около дорожек и даже в расселинах между каменными плитами старой лестницы, которая спускалась от дверей моих к воротам.

Дом стоял высоко над двором, а желтая стена, ограда от улицы, была построена еще ниже, но сама она была высока. С улицы то-

му, кто стучался в мои ворота, едва видна была крыша дома; а с моей верхней галереи был прекрасный и широкий вид на город.

Все дома и дома разноцветные, голубые, белые, розовые, и бледно-красного цвета, и зеленого, и желтого, и темно-кирпичного, или темно-красного цвета «*terre de Sienne brûlée*».

Между домами в Адрианополе много зелени; шелковица, листья которой так блестят на солнце, и высокие пирамидные тополи. С ними рядом высится много тонких минаретов. Вид из окон моих был так обширен; были видны даже и поля за городом, и изгибы реки Марицы, песок на берегу, и дальние каменные мосты на реках, и сады шелковицы по полям. Там, налево, за последним, кажется, мостом на Тундже, стояло большое, коричневого цвета строение, кажется, чей-то деревянный беджеклык[4] для развода шелковичных червей. Я и это мрачное, одинокое строение помню. И оно было видно из моих окон.

Прелестный вид! Пестрый и веселый... Часто солнце светило ярко над этою картиной, и дым домашнего труда поднимался изо всех

очагов.

Я вел очень уединенную жизнь. Общество болгарских и греческих старшин, сухих, лукавых, скучных, однообразных купцов, докторов и учителей — мне не нравилось и кому могло оно нравиться? Со времени возвращения Богатырева я продолжал посещать их изредка для того только, чтобы не слишком их оскорбить. Во время управления моего для целей политических я принужден был видаться с ними беспрестанно, так как именно в этом ужасном полуевропейском и деловом классе людей мы находили теперь главную опору нашим действиям; от них получали и лучшие сведения наши; и если б я теперь перестал вообще видаться с ними, то они поняли бы, до чего я тягочусь ими, и это впоследствии могло бы невыгодно отозваться на службе моей. Особенно их жены, церемонные, неподвижные, хитрые, крикливые, неизящно по-европейски одетые, приводили меня в отчаяние.

Итак, я жил один, или почти один, наедине с моими мыслями...

Прогулки пешком или на коне, книги, иногда оживленные беседы с консулом о России

и о здешних делах, его интересные рассказы о нашей старой дипломатии, историю которой он знал лучше меня, — вот моя жизнь, вот мои утешения в то время...

Я очень полюбил одинокие прогулки по дальним и тихим кварталам. Пока я управлял, я был обязан ходить с кавассом, чтобы меня не оскорбили на улице под предлогом того, что не знают «кто я», чтоб уступали мне дорогу, чтобы часовые турецкие отдавали мне честь ружьем. Теперь я мог ходить один, и эта перемена мне временно понравилась; я чувствовал себя свободнее; теперь я не обязан был требовать внимания от часовых; оскорблений личных я не боялся; я надеялся на собственную смелость и на крепкую палку, с которою ходил.

Я помню много хороших дней за это время.

В бумагах моих цел отрывок, написанный мною по возвращении с одной восхитительной прогулки.

Вот он:

«Я не могу изобразить хорошо моих чувств.

Если бы в прозе нашей русской можно бы

писать так, как мне хочется! Мне бы хотелось вот как писать:

О, дымок, дымок мой! серый дымок над нагими садами зимы!.. Как ты мил мне, зимний дымок турецкого пестрого города. Иду я одинокий вдоль речки от живописного Михаль-Кэпрю, иду домой под вечер и думаю: "Как я счастлив, о Боже!" Мне так ловко и тепло в моей меховой русской шубке, крытой голубым сукном. Как я рад, что я русский! Как я рад, что я еще молод! Как я рад, что живу в Турции! О, дымок ты мой милый и серый дымок домашнего труда! О, как кротко и гостеприимно восходишь ты предо мной над черепицами многолюдного и тихого города! Я иду по берегу речки от Михаль-Кэпрю, а заря вечерняя все краснее и прекраснее. Я смотрю вперед и вздыхаю, и счастлив... И как не быть мне счастливым? По берегу речки, по любимой моей этой прелестной дороге от Михаль-Кэпрю к городским воротам растут кусты черной ежевики... Вот здесь по восхитительной для меня (да, для меня только, для моего, исполненного радости сердца), на восхитительном изгибе берега на кусте три ли-

сточка, три листочка поблекших, все они белые с одной стороны и такие темно-бархатные, такие черные с другой. И на черном этом бархате я вижу серебряные пятна, — звездочки зимней красоты... А заря все краснее и краснее разгорается вдали за городом, и на алом небе этом все нежнее и нежнее мне кажутся тонкие и темные узоры обнаженных и бесчисленных ветвей. Я счастлив... Я страдаю... Я влюблен без ума... влюблен... Но в кого? Я влюблен в здешнюю жизнь; я люблю всех встречных мне по дороге; я люблю без ума этого старого бедного болгарина с седыми усами, в синей чалме, который мне сейчас низко поклонился; я влюблен в этого сердитого, тонкого и высокого турка, который идет предо мною в пунцовых шальварах... Мне хотелось обоих их обнять; я их люблю одинаково!..

Вот как желал бы я долго и много писать. Так писать мне приятно. Но кто станет читать меня, если я так напишу длинную повесть любви и буду мечтать безо всякого порядка и правил?

Никто!»

IX

Но нельзя было, к несчастью, вечно жить одинокими прогулками к Михаль-Кэпрю, нельзя было дышать лишь восхищаясь вечернею зарей и узором зимних ветвей, вдали сливавшихся во что-то туманное и до того прекрасное и родное, что оно было для меня милее самой летней зелени рощ и садов. Я не мог и не имел даже права с беспристрастием художника всегда равно любить и «старого болгарина в синей чалме, который мне поклонился, и пунцового турка, который, проходя мимо, так мрачно взглянул на меня». Мне все равно, это правда!.. Но я не затем, увы, тут живу, чтобы воспевать природу и поэзию восточной жизни.

Я принужден видеться с разными людьми, иметь сношения с ними; соображаться не со вкусами, а с делами моими. Я часто бывал, например, у богатого болгарина Чобан-оглу. Он был из тех немногих болгар, которые и в то еще время (лет более пятнадцати тому назад) говорили так:

— Оставьте все эти разнообразные про-

екты разрешения Восточного вопроса! Оставьте! Это все хаос. Надо разрешить дело просто: Адрианопольская губерния, Филиппопольская губерния... Понимаешь: присоединение к России...

Простой сердцем, прямой, с виду угрюмый и осторожный, но пылкий в сочувствиях своих, религиозный вместе с тем не для политики одной, не с виду и для влияния на Простой народ, как многие славянские и греческие старшины, Чобан-оглу был одним из самых надежных и полезных помощников русской политики в тех странах. Недостаток в этом отношении у него был только один: он был *royaliste que le roi*. Ни один из дипломатов наших, ни один из консулов, действовавших во Фракии, никогда не считали для России выгодным присоединение этой страны; большинство русских, служивших на Востоке, во все не безусловно восхищались нашею домашнею организацией и нашими порядками. Одни из них находили, что у нас уже слишком все по-европейски; другие — что недостаточно по-западному, и многие из этих деятелей наших на Востоке (может быть, и оши-

бочно) ожидали, напротив, чего-то освежающего и вполне славянского от жителей этих стран, освобожденных из-под турецкой власти.

Доктор Чобан-оглу смотрел на дело проще. «Сила России, — говорил он, — Государь и войско, которым я восхищался в Петербурге на майском параде; собор Св. Исаакия... Чего же лучше?»

Чобан-оглу получил медицинское свое воспитание в Италии; но красоты Св. Петра в Риме и Св. Марка в Венеции не затмили в глазах его красот Исаакиевского собора и Кремля.

— Пускай себе они лучше, эти католические храмы! — говорил он угрюмо, поправляя очки свои. — Хороши и наши — ничего! Подожди, дай России в Босфоре поплавать. Мы еще лучше построим что-нибудь. Мы Св. Софию подновим!.. Увидишь!..

Конечно, нам, русским, это пристрастие нравилось. И энтузиазм в нашу пользу, если мы даже и не со всеми его мечтами и проектами согласны, вредить не может. Энтузиазм можно охладить, когда того требует нужда. Как пробудить его, когда его мало, вот что

трудно.

Такие взгляды располагали нас, русских, к Чобан-оглу. Не стану уверять, однако, чтобы общество его было особенно занимательно, чтобы в доме его и в его семейной жизни была какая-нибудь особенная привлекательность. Дом его нравился мне потому только, что это был старинный дом в турецком вкусе, с обширными сенями, занимавшими почти весь нижний этаж, и большою широкою лестницей, снизу раскрашенной радужными зигзагами. Но этот дом был мрачен, и в самом Адрианополе можно было найти много жилищ в том же самом восточном вкусе, но несравненно более красивых и приятных.

Кофе подавали у доктора какой-то невкусный; у горничной, гречанки, которая стояла с подносом, пока гости пили кофе, я помню, были такие широкие, красные, отвратительные руки! Жена доктора была тоже гречанка, не старая еще и лицом недурная, но жеманная и громогласная; все с самолюбивою улыбкой на устах, одетая по-европейски, но дурно и с претензиями на отсталую моду. Я ее не любил и бывал в отчаянии, когда заставлял ее одну до-

ма. Со стыдом прибавлю, мне кажется, — я ей нравился. Эта обидная для моего самолюбия склонность ужасной докторши еще больше стесняла меня с глазу на глаз с нею. Она говорила мне комплименты; я страдал и оскорблялся, что нравлюсь такой неприятной и ничего не понимающей женщине. Сам Чобан-оглу тоже был довольно скучен. В медицинской науке он был недалек, в политических взглядах, как мы видели, немногосложен. Италия, в которой он учился медицине, не оставила почти никаких следов на вкусах его или, вернее, только направила их к худшему. Чобан-оглу настолько стал европейцем, насколько нужно греку или болгарину, чтобы стать пошлее и, утратив оригинальность, не приобрести ничего того высшего, что может дать истинная образованность...

Единственный человек, который мне сам по себе (а не по взглядам своим) нравился в семье и родстве доброго и скучного Чобан-оглу — это был отец его, сам старый Чобан.[5] Он приходил иногда по праздникам к сыну, в темной одежде из толстого сукна домашней работы, в бараньей шапке; входил,

садился на диван и кланялся оттуда по-турецки. Разговаривал о чем-то (о чем, не помню; все-таки и его речи были довольно скучны); шутил с младшим внуком своим, приговаривая с улыбкой любви всё бранные и даже неприличные слова: «Рогач ты такой! Сводник, негодяй», и еще хуже. Изю всех его речей это еще было занимательнее всего. При старике хоть и не становилось веселее, но по крайней мере все делалось в доме доктора на миг характернее... Эта шапка баранья на диване в таком почете! Эти грубые ласки внуку! Сама докторша как будто приобретала иное, как бы «историческое» значение. Она почтительно вставала пред старым пастухом, подавала ему чубук, сама нагибаясь, ставила ему под трубку чистое медное блюдечко (чтобы не жечь ковра) и сама же приносила ему щипцами уголь из жаровни, чтобы он раскуривал. В эту минуту я ее уважал, и будь на ней самой не плохая какая-то зуавка и кринолин, а будь надето что-нибудь тоже старинное, я был бы совсем доволен ею, и она, может быть, хоть на минуту и понравилась бы мне...

Что еще сказать о доме и родстве доктора Чобан-оглу? Был у него сын старший, отрок еще, лет пятнадцати-шестнадцати... Не дурен, но обезображен всегда каким-то медвежьим долгополым сюртуком.

У жены доктора был еще брат, отвратительный собою грек, лет двадцати трех. Лицо у него было серое, очень круглое, все в мелких дырках (я этого терпеть не могу). Пузырь какой-то пучеглазый, чернозубый и еще более крикливый, чем сестра... Он учился в Афинах и не давал никому слова сказать, чтобы не вмешаться, не закричать на весь дом, не показать свою ученость и «воспитание».

Один гость говорит, я помню: «там были эти танцовщицы...»

— Да! балерины! — кричит серый пузырь.

Я говорю однажды доктору: «Вы долго были в Италии?»

— Он был в Риме, — перебивает тот, — видел святейшего непогрешимого отца... ха! ха! ха! Непогрешимый.

Боже мой! при виде такого молодого человека даже единоверию с ним своему я был не рад... и готов был назло ему и пред Папой

склоняться в прах...

Впрочем, все это так несносно... И если я вспоминаю и говорю об этом, то только для того, чтобы было виднее, почему именно оно было скучно.

Однажды мы с Михалаки Канкелларио зашли к Чобан-оглу в праздник, после обедни. Православная обедня в Турции служитя очень рано, — тотчас по восхождении солнца, и зимой, и летом. Это было зимой и было около 8 часов по-европейски (кажется, около трех по-турецки), когда мы сидели у доктора. В обширных сенях его старинного дома была наверху галерея с колоннами и балюстрадой, и с галереи этой открывалось много дверей во внутренние покои. Внизу, в самых сенях, мощеных плитками, была построена особая маленькая комнатка, вроде беседки, вся в стеклах и с деревянным потолком, очень пестрым и веселым, как персидский коврик. Кругом трех стен шел турецкий диван, а на полу ковер; зимой там ставили медную жаровню, притворив крепко стеклянную дверь в сени, и тогда в этой беседочке становилось очень тепло, и в стекла все было видно, что

происходит в сенях: кто выходил и входил.

Мы сидели, курили и пили кофе. Докторша в беличьей шубке, крытой атласом, играла золотую цепочкой своею и рассказывала нам о том, как она испугалась, когда французские солдаты в пятьдесят четвертом году, увидав ее с улицы из окна, вздумали стучаться в дверь, и как муж ее пошел потом жаловаться к Боске.

— Дураки вообразили себе, — прервал ее муж, — что порядочная женщина на Востоке у окна не сидит! Увидали ее и подумали, что они имеют право сюда войти! Где ж и сидеть нашим женщинам, как не у окна? У нас развлечений нет.

Мы все согласно начали бранить французов, и мало-помалу разговор перешел в рассуждение о католической пропаганде, с которою мы в эти годы во Фракии ежедневно боролись.

Около этого времени мы начали пересиливать. На нашей стороне был и Куру-Кафа, болгарский простолюдин, самый хитрый и ловкий из стольких хитрых и ловких болгар.

В болгарскую школу, основанную нами в

предместье Киречь-Хане, стали в то время из униатской школы десятками переходить болгарские дети, и целые семьи болгарские, увлеченные на миг теми вещественными выгодами, которые обещала им пропаганда, приходили беспрепятственно просить прощения у греческого митрополита и возвращались толпами под духовную власть Православной Церкви. Мы говорили об этом и радовались.

Михалаки Канкелларио сказал:

— Говорят, что польские попы ввели незаметно для народа *filioque* при чтении Символа Веры в униатской церкви?

Госпожа Чобан-оглу прибавила:

— А я слышала, что они распятие сделали в церкви католическое, выпуклое...

— Погодите! — сказал доктор с таинственной улыбкой, — все это рассыплется в прах. Это все пустяки. Папа ничего не может сделать; нужно только, чтобы между православными было согласие. Я и сегодня жду кой-кого... Подождите, еще есть кающиеся... Вот они, — воскликнул он, вставая и глядя через стеклянную дверь в сени.

Кто-то осторожно стучал кольцом с улицы

в большую дверь.

Служанка отворила.

И я встал посмотреть и увидел двух очень молодых людей в европейском платье и фесках.

Один из них был повыше и покрасивее, другой пониже и очень дурен собой.

Они довольно робко стали у дверей и осматривались...

Доктор отворил дверь из беседки и позвал их. Имена их были болгарские. Одного (красивого) звали Стоян Найденов, а другого, дурного собой — Иован-оглу.

Они оба были около года униатами и служили чем-то при униатской церкви в Киречь-Хане.

Теперь они решили отказаться от унии и пришли к доктору, чтоб он помог им как-нибудь, чтоб он научил их чем им жить в новом их положении, когда уж ни польские священники, ни французский консул помогать им не будут.

Стоян был не только выше и красивее, он был одет получше: у него сюртук был не стар и феска красная и свежая, а на шее был яр-

ко-малиновый шарф, заколотый стразовою булавкой, которую он беспрестанно поправлял, чуть-чуть краснея...

На Иован-оглу короткая жакетка оливкового цвета едва держалась. Белья на нем не было вовсе видно; а лицо его, широкое, грубое, но доброе, было очень жолто и старообразно. Он сначала ничего почти не говорил, предоставляя все объяснения Стояну Найденову.

Присутствие грека Михалаки в первую минуту как будто стесняло молодых людей, но доктор сказал им по-гречески:

— Что вы боитесь? Господин Михалаки Канкелларио друг наш и человек православный. Что вы такое делаете, чтобы вам бояться? Не против турецкого правительства вы идете; вы только оставляете ваши религиозные заблуждения.

— Это так, господин доктор, конечно, мы только возвратились на правый путь отеческой веры...

— Что же вы думаете теперь делать? — спросил я.

— Что случится, — продолжал Стоян. —

Нам стала ненавистна иезуитская ложь. И что добрые люди для нас сделают, то пусть и будет.

Жолтый Иован-оглу все молчал; выражение лица его оставалось неприятным, и черные огневые глаза его только изредка вовсе недружелюбно взглядывали то на Канкелларио, то на меня...

Я сказал, что можно на первый раз найти им занятие в православной школе Киречь-Хане.

Молодые люди молчали.

Михалаки после этого простился и ушел.

Мы думали, что без него эти юноши станут смелее разговаривать, но они и без него были все так же сдержанны, как и при нем.

Желая слышать что-нибудь от Иована-оглу, доктор обращался несколько раз к нему с расспросами о родных его, о том селе, в котором он родился, об училище, где обучался грамоте, о том, кто убедил их пойти в унию.

На вопросы о селе и родных Иован-оглу отвечал кратко и просто; когда же доктор спросил у него о первом его совращении в униат-

ство, он ответил так:

— Зачем мне слушать людей? Я сам не глупый. Я сам могу понять пользу народа нашего... Над нами два ига — турецкое и греческое... Надо прежде свергнуть то, которое слабее. Надо нам отделиться от греческого Патриарха! Если бы все так делали, как мы, то болгарский народ был бы всегда свободен.

Религиозному доктору эти речи не могли нравиться.

— Какой-токой греческий Патриарх? Я никакого не знаю. Есть Патриарх Вселенский, Константинопольский, и вера у нас одна, что в Петербурге, что в Тырнове, что в Афинах... Ее портить нельзя... И греков надо вам оставить в покое... Надо потерпеть! Падет Турция, и все тогда сделается само собою. Найдутся люди сильнее и справедливее нас, которые все это поделят как надо...

Молодые люди ничего не возразили на это.

Я тогда спросил Иован-оглу:

« — Если вы находили католическую пропаганду полезною для вашей родины, для чего же вы оставили униатство?

Иован-оглу, немного смутясь, отвечал:

— Обстоятельства изменились...

— Какие обстоятельства? — спросил я. — Если вы желаете, чтобы вам дали должность, вы должны быть откровенны и внушить доверие.

Иован-оглу молчал.

Стоян, посмотрев на него, сказал ему:

— Отчего ты не говоришь? Говори.

— Что я буду говорить, — возразил угрюмый Иован-оглу, пожимая плечами.

Стоян поправил свой малиновый галстук и уклончивым тоном отвечал за него:

— Если бы весь народ стал униатом, то болгары сразу бы отделились от Вселенской Церкви, и Болгария могла бы стать особым Царством, даже не восставая против турок. Вот так, как теперь будет Венгрия в Австрии. Султан назывался бы Царем болгарским, Болгария имела бы свою конституцию, свое войско и свою автономию.

Доктор вспыхнул в лице и воскликнул с жаром:

— Мечтания! Детские мечтания... Какая глупость! Я эту глупость слышал. Турки всех вас в куски изрубят прежде, чем вам дать ав-

тономию... Какая глупость!..

Стоян поспешил продолжать свои объяснения.

— Позвольте, господин доктор, так и мы думаем. Я излагал взгляды тех, кто старался обратить нас в униатство. Но мы поняли, что это все ложь и невозможно. Униатство, вместо того, чтоб отделить нас от греков, в самом народе производит разделение и раздор.

— Вот это умно! Вот это прекрасно! — заметил доктор. — И вы прекрасно сделали, что поспешили оставить это заблуждение. Мы все постараемся что-нибудь для вас сделать...

Я тоже обещал рекомендовать их консулу и, желая еще больше привлечь этих юношей, пригласил их к себе обедать на следующий день.

Они благодарили нас и ушли.

Доктор был недоволен моим радушием и находил, что я увлекся на этот раз слишком добрым чувством. Он говорил об этих молодых соотечественниках своих так:

— Пономари! Кандильянафты[6] и больше ничего!.. Зачем их приглашать обедать? Это слишком много чести для них. Развращенные

мальчишки! Им верно показалось что-нибудь невыгодно у католиков; они ожидали для себя, а не для народа от пропаганды золотые горы; и им надоело зажигать свечи в униатской церкви. Я не приглашу их обедать.

Я, впрочем, был не согласен с доктором и находил, что нам необходимо видеть и привлечь к себе разных людей... Ему, рожденному во Фракии, по привычке уже многое кажется ясным и все ему знакомо; а я хочу сам видеть как можно больше и понять окружающую меня жизнь со всех сторон яснее. Мне нужно видеть разных людей и слышать разные речи.

На другой день Стоян пришел ко мне один; Иован-оглу не явился. Стоян сказал мне, что товарищ его нездоров. Через неделю я узнал, что Иован-оглу возвратился к униатам и что ему французский консул выдал особое пособие. Я до сих пор не понимаю, что был такое этот молодой человек: фанатик ли своего народного дела, который не мог выносить даже и доброжелательных возражений своего соотечественника-доктора, или жадный мальчишка, который хотел только пострадать ка-

толиков, чтоб они дали ему денег. Я его после этого никогда более не встречал и слышал, что он погиб во время последних беспорядков. Он был учителем в каком-то небольшом городе, и турки, как слышно, утопили его в реке с камнем на шее.

Стоян обедал у меня один. Он держал себя очень порядочно и скромно; говорил хорошо. Он сказал мне, что *filioque* не прибавили еще в Символ Веры, что он сам читал его и что всю литургию польские священники служат очень правильно и хорошо по православному обряду. Но распятие выпуклое есть, это правда.

— Но они, то есть священники польские, — передавал он, — сказали нам, что такие выпуклые изображения употребляются и в России.

Под конец обеда он, дождавшись, чтобы вышел слуга (слуга был грек), обратился ко мне с одной просьбой.

— Со мной, — сказал он, — делайте как угодно. Рекомендуйте меня в школу, если это возможно, я буду очень благодарен. Как вам угодно, так со мной и поступайте, я не пропа-

ду; я знаю грамоте. Но я вас убедительно прошу за брата моего родного. Спасите его. Он еще молоте меня и служит в полку Садык-паши. Он хочет бежать оттуда теперь. Он мальчик простой души и не желает больше служить в этом войске. Слышно, что казаков и драгун скоро пошлют в Балканы для усмирения болгар. Он не может сражаться против своих, и я умоляю вас спасти его как-нибудь. Он убежит, но надо скрыть его до тех пор, пока не уедут из Адрианополя все польские офицеры.

Я с готовностью согласился сделать что могу, и Стоян сказал мне, что брат его придет ко мне вечером. История этого юноши заинтересовала меня, и я ждал его с нетерпением.

Настал вечер. Я предупредил слугу моего, человека очень верного, чтоб он не вводил прямо ко мне одного болгарского мальчика (который должен по секретному делу прийти ко мне) в том случае, если у меня будут посторонние люди, а только бы спрятал его и дал бы мне тотчас знать как-нибудь.

Когда совсем стемнело, беглец постучался в мою дверь, и так как гостей у меня не было,

то его и привели прямо ко мне.

С первого взгляда я увидал, что лицо этого красавца мне знакомо: я случайно однажды видел его верхом на базаре. Он ехал без седла и стремян. На рукавах его или под ними было что-то красное... что — не помню... Помню, на голове его была феска; он был полка Садык-паши. Помню также, что лошадь то взвивалась на дыбы, то шла боком, горячась и играя, и народ на базаре расступался, любуясь конем и всадником. Но какой масти была лошадь, не помню и не могу сказать теперь, что был такое сам Велико, драгун или казак полка Чайковского. Не хочу и заботиться об этих подробностях и буду звать его казаком. Я успел заметить еще, что Велико был очень молод и улыбался, от радости вероятно, что на него любуются народ.

И я постоял, и я полюбовался, и хотел уже идти дальше; но один прохожий грек фамильярно обратился ко мне и воскликнул, может быть, с насмешкой, а может быть, и с радостью:

— Вот христианское войско!

Я сказал ему в ответ на это: да, и ушел. — Я

ушел, а молодец этот с красными рукавами проехал дальше и скрылся, и я перестал думать о нем. Теперь он был не в казацком мундире с откидными красными рукавами; он переменял одежду, и на нем были куртка и шальвары из толстого болгарского домашнего сукна какого-то бледно-розового цвета, чуть-чуть с фиолетовым оттенком. Я не раз видел на молодых болгарях такое сукно, и оно очень мне нравилось. В этой одежде Велико был еще красивее. Он казался спокойным и даже веселым и протянул мне руку; я думал, что он хочет пожать мне ее, и подал ему свою; но он нагнулся, поцеловал мою руку почтительно и сказал:

— Эффенди, спасите душу мою от напрасной смерти. — Теперь поляки и турки могут убить меня, если они меня поймают.

Я ответил ему, чтоб он не беспокоился и что мы его ни за что не выдадим ни полякам, ни туркам. Пока есть русский флаг в Адрианополе, такого позора и такой жестокости случиться не может.

Велико был очень рад, и я велел его накормить внизу и устроить ему в доме такое ме-

сто для ночлега и житья, где бы он не мог легко попадаться на глаза каждому проходящему.

И Велико остался жить у меня.

Х

Первые дни я все радовался на моего беглеца. Велико был очень ровен характером, послушен; серые большие глаза его с длинными черными ресницами вначале сияли радостным светом; он не мог взглянуть на меня без приятной и почтительной улыбки. Но скоро он стал скучать взаперти. Брат его, Стоян, был всего только раз у него на минуту; он жил далеко и был очень занят в той школе, куда мы его с Богатыревым определили.

Должности для Велико у меня в доме не было никакой. Прислуживал мне его же летюноша, критский грек Яни; верный, добрый, умный, преданный как сын, я не мог и подумать удалить его, чтобы найти занятие для Велико. Посылать его по городу с комиссиями и за покупками было невозможно: он мог бы попасться кому-нибудь.

Я придумал, наконец, посылать Яни, кото-

рый уже знал немного грамоте, каждый день в греческую школу, а Велико должен был прислуживать мне вместо него. Он очень скоро привык; делал все с большим усердием, мел весь дом и двор. Увидав, что в доме есть оружие — пара пистолетов у меня и охотничье ружье у повара — он очень обрадовался и вычистил их тотчас же; выпрашивал и у консульских кавассов, турок, их оружие и его чистил. Но самая лучшая его отрада была моя лошадка, вороная, с прекрасной иноходью, с такою иноходью, про которую местные люди говорили: «Вот рахван (иноходь)! Это такой рахван, что можно ехать и в одной руке держать чубук, а в другой кофе: и кофе не разольется, и огонь не просыплется».

Эту лошадку Велико чистил, холил, водил по двору, кормил из своих рук и сокрушался несказанно, что не может на ней прокатиться.

Как он мне завидовал, когда я, вскочив на нее за отворенными воротами, пускал прямо почти от двора вскачь. Я слышал сам, как он восклицал громко мне вслед по-турецки: «Э! Аман! Аман! Что мне делать!..»

Мне было иногда ужасно трудно удержать его дома...

Темным вечером его легче было бы с осторожностью выпускать; но вечером-то именно ему никуда и не хотелось. Милый кандиот Яни, с которым он подружился, бывал тогда дома; приходил часто по вечерам же консульский повар, тоже молодой грек фракийский, Кариот Паскаль. Веселый, лукавый, ловкий плут и щеголь; он был постарше и поопытнее обоих; певец и немножко Дон-Жуан, носил толковые курточки, суконные шальвары, богато расшитые шнуром, и часы на красивой серебряной цепочке во всю грудь. Заходил иногда и один из кавассов, Али, добрейший турок, глупый, простодушный, смиренный, честный, бледный и худой как щепка... Все мои молодые христиане очень любили этого турка, и ловкий Паскаль даже подтрунивал над ним по-приятельски... Если мне случилось самому быть дома, я только и слышал, что песни турецкие, славянские и греческие, тамбуру[7] смех, крик за картами.

На сон грядущий Яни рассказывал мне потом всякие новости, и анекдоты, и сплетни.

Вот он-то, жалея Велико, и сказал мне, что молодой болгарин нестерпимо тоскует; что ему хочется на волю, хочется в поле, на коня или домой в деревню... Что мне было с ним делать!

Михалаки Канкелларио, с которым я советовался, в деревню к родным пускать его не советовал. Село их слишком было близко от города; безопасности нельзя было ожидать. И сам Велико казался еще недостаточно благо-разумным.

Я призвал его и сказал ему:

— Ты все скучаешь? В полку было веселее?

Велико застыдился как девушка. Он при-пал одним плечом к стене, отвернулся, крас-нея, к ней лицом и сначала молча чертил что-то пальцем по этой стене, а потом, когда я по-вторил мой вопрос, начал так горько плакать, что я не знал, как его утешить...

Кое-как уговорил я его потерпеть еще, по-ка мы все, покровители его — консул наш, я сам и наш изобретательный Михалаки Кан-келларио — что-нибудь для него придумаем. Сходил я потом нарочно в город, купил ему шерстяной, самой яркой желтой с малиновы-

ми цветами материи на новую куртку, отдал ему и велел тотчас же сшить. Он бросился целовать мою руку и как будто на время забыл свою тоску.

Но потом явились все новые и новые затруднения. Меня посещали разные люди: всякого рода христиане, греки, болгаре, армяне; бывали иногда евреи и турки; изредка и консула делали мне визиты. Нельзя сказать, чтобы посетители эти бывали у меня часто; напротив того, они бывали очень редко. Я тогда не управлял консульством; не было нужды никому у меня часто бывать; но все, однако, изредка бывали. Всякий мог прийти. С тех же пор, как Яни стал ходить в школу, кому было кроме Велико, отворять ворота, когда раздавался стук железного кольца?

Так и случилось раза три. Велико вынужден был отворять. Я не был покоен и за него, и за «принцип» консульских «приличий».

Перестать посылать Яни в школу? Нельзя. Зачем же приносить в жертву его выгоды безопасности другого?

Велико я берег и жалел; он был так кроток, так незащищен, представлял такое поразитель-

тельное юношеское сочетание душевного младенчества и телесного мужества.

Велико я берег и жалел; Яни я любил, я был почти обязан ему: он был так верен и так предан мне. Я решился войти поэтому в новые расходы и нанять особого человека нарочно, чтобы только было кому раза три, четыре в неделю отпирать калитку и показываться в ней.

Мне нашли для этого болгарина, старичка, низенького, боязливого и очень бедного, обремененного большою семьей. Звали его Христо.

Кажется, можно было успокоиться! Велико стал привыкать к красивой темнице своей и стал меньше скучать; так докладывали мне и Яни, и старик Христо. Сам он на мои вопросы отвечал все стыдясь и краснея:

— Теперь ничего. Теперь мне хорошо, эф-фенди мой.

Так мы применились наконец понемногу к обстоятельствам, и за Велико я стал покойнее; но зато около этого же времени сам я начал тосковать нестерпимо. Все то, что было для меня около года тому назад и даже еще не

так давно источником блаженства, стало теперь орудием пытки. Мечтательное одиночество мое, живописный пестрый вид из окна, безмолвные переулки и таинственные дома с решетками на окнах, крик муэззинов на круглых балконах минаретов, разноцветные одежды жителей, громкие стоны голубя моего (я их около этого времени стал впервые замечать), хозяйственный приветливый дымок из труб, огненные вензеля из висячих площадок Байрама на страшном мраке зимней ночи, — все это начинало раздражать и томить меня до истинной муки. Посреди всего того, что мне так нравилось, я скитался как сказочный принц, запертый навеки в волшебном саду, без ответа и любви!

Созерцать и вечно созерцать, ожидать и томиться чем-то и о ком-то без конца, это невозможно! Это нестерпимая пытка!..

Однажды я не мог заснуть всю ночь и почти до рассвета провел на галерее, то сидя у открытого окна, то лежа на диване. Ночь была темна, и я различал только небо и город; небо было немного светлее; город чернее неба. О, что за мучительная была эта ночь!

Как пели петухи в эту ужасную, в эту темную ночь! как они пели! как они мучительно пели! Я думал о множестве женских молодых сердец, которые, казалось мне, бьются счастьем и тоской под столькими кровлями этого чужого города, черневшего так широко у ног моих. Я думал о «жаре моей души, истраченном в пустыне». Я был бы счастлив здесь одною дружбой в этой живописной пустыне сердца, я был бы счастлив даже кокетством одним. Мне нужно сердце, нужно чувство, а не плоть.

Я заснул на рассвете, и когда проснулся, солнце опять освещало весь город и узорный дворик мой, и дикий с белыми розами потолок моей гостиной. На персиковом

дереве в углу под окном около глухой и высокой стены опять кричал, ворковал и стонал мой мучитель — египетский светлый голубок, напрасно призывая меня к жизни сердца, к сладким и восторженным мукам взаимной любви.

Когда я вспоминаю эти дни бесплодного и нестерпимого томления, я рад иногда, что я уже не молод и что теперь мои мучения со-

всем иного рода. Они гораздо слабее уже потому, что я давно привык страдать и потому, что скорбь считаю теперь настоящим назначением человека на земле. Тогда я считал ее обидой и неправдой. Я верил тогда в какие-то мои права на блаженство земное и на высокие идеальные радости жизни!

Мне было тяжело еще и оттого, что даже и поделиться чувствами моими было не с кем.

Богатырев тоже скучал. Дела по службе его шли прекрасно. Основанная на русские деньги болгарская школа начинала процветать; греческий митрополит сносился, под влиянием Богатырева, с эллинским консулом и с местными старшинами из болгар и греков для общей борьбы против Католичества. Униаты-болгаре целыми сотнями возвращались в лоно Церкви и приходили просить прощения и разрешения у греческого владыки. Влияние английского консула Виллартона в самом коняке паши падало так низко, что Виллартон приходил почти в отчаяние и беспрестанно бегал к Богатыреву, стараясь его всячески задобрить. Но Богатырев был равнодушен ко всему и, управляя чужими интересами и сла-

бостями привычною и ловкою рукой, почти шутя, был в сердце занят совсем иным. Он возвратился в Адрианополь женихом и жил, скучая, от почты до почты. Невеста его была очень молода, красива, благовоспитанна и богата. Она была влюблена в него и с позволения матери писала ему длинные письма, читая которые, он блаженствовал. Свадьба по каким-то расчетам родителей была отложена на полгода. Вот почему Богатырев был не весел и жил только надеждой, как я сказал, от почты до почты.

С кем же говорить, с кем поделиться моею сладкою и ядовитою скорбью?

Раз мы стояли на моей галерее с Михалаки Канкелларио и смотрели на знакомый прелестный вид. Михалаки Канкелларио был человек очень злой и очень умный, очень верный нам (русским) и очень мне (Ладневу) противный... В семье своей почти злодей; в политическом деле никем не заменимый друг и помощник. Около года я виделся с ним почти каждый день, и целый год подряд я то ненавидел его всем сердцем, то восхищался им.

Мы стояли и смотрели оба молча. Михалаки Канкелларио сказал наконец:

— Как это красиво, не правда ли? А я отвечал ему, вздыхая:

— Да! только красиво!

— Что такое? — спросил он, стараясь угадать мою мысль, — что такое? Верно для вас вся эта прекрасная картина отравлена мыслью, что это Турция? что Христианство под иггом?

Я поколебался. Положение мое в городе, как русского, заставляло меня быть осторожным; я опасался оскорбить политическое чувство этого человека, столь нужного нам, столь незаменимого даже. Поколебавшись недолго, я, однако, решил немного раздосадовать его и сказал откровенно:

— О, нет! Я не думал теперь ни о Турции, ни о рабстве; я думал вовсе о другом... По-вашему, быть может — пустом и легкомысленном. Вид восхитительный, конечно; но фантазия людей, особенно фантазия христиан здесь так безжизненна и жизнь сердца невыразимо скучна.

Михалаки обернулся ко мне вдруг лицом и

поглядел на меня молча и внимательно. Хитрые, злые глаза его стали веселее; он долго улыбался. Он не оскорбился, он был чему-то рад.

— Романы? Вы любите романы. Э! что делать! Мы, правда, дочерям своим и женам романов не даем читать... Мы рвем такие книги, когда находим их. Но...

Он еще раз приостановился, все улыбаясь и все сияя какою-то адскою веселостью, все глядя на меня, как бы желая проникнуть взглядом своим до глубины моего сердца, и наконец сказал по-французски, значительно качая головой:

— *Serpendant... il nous arrive, il nous arrive quelque chose...* И здесь бывают дела. Надо только знать, где что найти (прибавил он таинственно).

И опять коварный человек умолк на мгновение, все не сводя с меня глаз... Он будто собирался с силами, готовясь открыть мне тайну величайшей важности. (Он умер теперь, этот Михалаки Канкелларио, но в моей душе живут и до сих пор эти сверкающие лучи его пронзительных глаз! Что это были за глаза,

ядовитые, упорные!)

Я подозревал, однако, что он при всем своем уме, по грубости сердца и по нищенству фантазии, вовсе не понял меня и говорит не о том, о чем я думал, не о любви «мучительной и сладкой», а о каком-нибудь тайном, грубом и купчески расчетливом развороте. Я не мог сказать ему прямо то, что думал: «Вы ошибаетесь. Я не о том говорю, что вы, например, женатый и пожилой и вовсе не красивый человек, соблюдая для вида некоторые посты и посещая нередко храм Божий, почти каждые два-три года выдаете замуж с приданным молодых беременных служанок... И всем известно, что вы чахоточную смирную жену вашу, которая едва ходит по комнате, драли за косы еще недавно...» Связанный расчетами службы, я не мог ему этого сказать. Я отвечал королю:

— Вы ошибаетесь. Вы, конечно, говорите о каком-нибудь тайном растлении, я же говорю о романтической любви, которая искренностью своей может облагородить многие проступки...

Михалаки Канкелларио рассмеялся и ска-

зал гораздо добродушнее и даже со вздохом:

— Нет. Я понял вас... И повторяю... Бывает и это... Бывает и любовь... Бывает, уверяю вас.

И, еще раз многозначительно улыбнувшись, ненавистный переводчик ушел, а я остался у окна один, все скучая, все тоскуя!

XI

Прошло еще недели две. Я почти утратил все простые и приятные ощущения жизни. Сон был тревожный; голод слабее; птички для меня уже не пели; ветерок прохладный не освежал меня. А если случайно и видел или слышал что-нибудь хорошее, если невольное впечатление пробуждалось во мне на миг и неожиданно, — то становилось еще больнее. Зачем я не чувствую так сильно, как следовало бы чувствовать? Зачем я не радуюсь тому, что должно бы меня радовать...

Я дошел наконец до того шаг за шагом, что задумал одно очень худое и постыдное дело; я обратил внимание на одну молодую девушку болгарку пятнадцати лет... Я хотел... не то чтоб обольстить... не то чтоб обмануть ее как-нибудь... О! нет. Избави Боже! На это я был во-

все не способен; нет! до этого никакие муки и страдания не могли бы меня довести. Я никогда не понимал, чтобы скука или какое бы то ни было страдание могли бы довести человека до низкой жестокости и до гадкого преступления: мои намерения хотя были и безнравственны, но не до такой презренной степени. Она мне понравилась, и я деньгами, подарками и ласками хотел привязать ее к себе, обеспечить ее и жить с ней в любовной связи, как живут многие и долго, стараясь ее не обидеть. Я, кажется, сказал уже, что, к сожалению, воспитание мое не было действительно христианским. Как я избавился от этого греха и проступка, — я скажу после... В такие минуты труд самый нелюбимый и общество людей самых неприятных — лучшее средство забыть на время убийственное уныние сердечной пустоты...

На мое счастье явились новые дела. Консул поручил мне собрать сведения о ценах съестных и тому подобных припасов на адрианопольском рынке для отсылки этих сведений в департамент торговли и мануфактур. Я прямо из канцелярии пошел в контору наше-

го Канкелларио, чтобы сообщить ему о желании консула. Контора Михалаки вместе с конторами других негоциантов (католиков местных и греков) помещалась в большом каменном здании, которое звали «ханом». Вероятно, в старину здесь был богатый караван-сарай. Все двери и окна контор в этом большом, темном и довольно величавом здании были обращены на просторный, мощный двор. Контора Канкелларио была в верхнем этаже, кругом которого шла галерея. Я вошел на двор. Из-под темных ворот взглянул случайно наверх в ту сторону... Взглянул и вздрогнул... На галерее, у дверей Михалаки, разговаривая с ним, стоял Антониади. Я до того обрадовался, до того смутился, до того испугался вместе с тем, что он, вероятно, один и приехал сюда на самое короткое время по какому-нибудь коммерческому делу, что у меня как-то слабее стали ноги.

Я должен был сделать над собой большое усилие, чтобы никто ничего не мог заметить, и, слава Богу, очень скоро справился с этим неуместным и досадным волнением.

К счастью, я, по мере того, как всходил на

лестницу, настолько овладел собою и одумался, что без труда воздержался и от другой крайности — от неестественной и ненужной в подобном случае сухости... Мы встретились просто и хорошо, как добрые знакомые, и вернулись вместе в контору Михалаки. Антониади возвратился, понятно, только для меня, с Канкелларио его дело было кончено.

Беседовали мы с г. Антониади недолго. Я все ждал, что он, как англоман и человек все-таки довольно пошлый, скажет: «время — деньги». И сам удивился, что угадал такую мелкую подробность. Он сказал это... Да! Он встал и с улыбкой сказал, покачиваясь слегка с носков на каблуки и с каблуков опять вперед (у него была такая привычка): «Однако время — деньги... Мне пора расстаться с вами!» И мы простились. Но и эти десять минут меня переродили!

Вскоре после него и я ушел, счастливый и бодрый. Я узнал, что она приедет через две недели и надолго, быть может, навсегда... Антониади переселялся во Фракию для торговли толковыми коконами и пшеницей.

Он уже навел справки о ценах квартир

и отопления.

Чего мне было большего желать? Через две недели она в самом деле приехала.

Антониади еще до приезда ее сделал визиты, и Богатыреву, и мне. Богатырев не спешил; но я тотчас заплатил ему визит, и на этот раз мы побеседовали побольше и порадужнее.

Все шло хорошо. И когда мы узнали, что Маша уже здесь, то я упросил Богатырева поехать к ней вместе. Скрывать от Богатырева, что я знаком с Машей, было бы неуместно, и я не только не скрыл этого, но даже рассказал ему всю историю константинопольских визитов и изобразил ему все оттенки в отношениях к ней наших посольских дам и кавалеров. Уронить ее это не могло в его глазах. Напротив. Хотя они ее бранили там, хотя на нее нападали, но все-таки имели с ней общественные сношения: признавали ее. Из адрианопольских дам ни одну бы там в этом смысле не признали.

Итак, мы сели на коней и поехали. Рыжая лошадь Богатырева была виднее, крупнее и дороже моей, но у нее не было тех живых и в

высшей степени приятных аллюров, которыми одарен был мой милый вороной иноходец, восхищавший всех и галопом, и «рахваном» своим! К тому же молодой консул гораздо хуже моего ездил верхом; он только в Адрианополе стал учиться и был еще робок на седле; а я чувствовал себя на нем совершенно свободным.

Мы эффектно подскакали ко крыльцу того греческого дома, где у родственников своих остановились супруги Антониади временно, пока найдут себе хорошую квартиру.

Ни хозяйина этого жилища, ни Антониади не было дома. Они были заняты с утра по торговле. Нас встретила хозяйка, старая гречанка; худая, немного горбатая, очень опрятная с виду и очень ядовитая женщина, про которую сам муж, плохо, но очень смело говоривший по-французски, отзывался с ужасом: «Ah! ma femme! ma femme! c'est un mauvais sujet... Elle est très méchante, très mauvais sujet».

Богатырев, сухо поздоровавшись с нею, поспешил заявить с самым серьезным и официальным видом, что мы желаем видеть мадам Антониади и приехали именно для нее. Бога-

тырев по-гречески знал очень мало, и я служил ему переводчиком.

— Знаю, очень хорошо знаю это! — не без значительности сказала старуха. — Госпожа Антониади сейчас придет.

Маша, в самом деле, не заставила себя долго ждать; она пришла, и я представил ей Богатырева. Мне очень хотелось, чтобы Богатырев потом похвалил ее, или, по крайней мере, чтоб он хотя бы молча, не сообщая мне ничего, в сердце своем одобрил бы ее. Здесь, в Адрианополе, в этой среде, имевшей для меня лишь объективное значение, она мне показалась вдруг совсем моею. Как моею? Как бы то ни было, но моею, близкою душой; душою, которой самолюбие — мое самолюбие, которой успех — мой успех, и неудача — моя неудача... Сестрою, другом, дочерью, матерью, женою, любовницей, русскою знакомой на чужбине. Словом, моею.

Богатырев был очень уважителен, любезен и весел. И он давно уже не говорил с женщиной, имевшей известного рода понятия и привычки; и ему, видимо, стало вдруг легче.

Маша сумела очень хорошо удовлетворить

нас обоих; она была одинаково к нам обоим любезна, и разговор ее на этот раз был очень занимателен.

— С вами, — сказала она мне, крепко и долго пожимая мне руку, — мы уж старые знакомые.

И потом, с несколько преувеличенным энтузиазмом поднимая глаза к небу, прибавила:

— А! вы не знаете, до чего я люблю русских и все русское!.. И как я рада... встретить здесь русских людей...

Богатырев, вставив в глаз свой монокль, отвечал на это небольшим поклоном и сказал:

— Да, здесь скучно иногда... Это правда...

Потом они начали говорить о посольстве нашем, и Маша чрезвычайно хвалила наших дам: «Как они любезны, просты, как умны». (Она и не подозревала... бедная, что в истории ее визитов они были и не любезны, и не просты, а разве только не глупы в том отношении, что меня послушались и отдали ей визиты.)

Богатырев, поддерживая разговор, и хвалил, и порицал, и рассказывал кой-что про

этих же самых дам.

Я слушал и почти не вмешивался в их оживленный разговор, и из вежливости, глубоко страдая и принуждая себя, расспрашивал что-то по-гречески у ядовитой хозяйки. Но наконец усилия эти истожили меня, и я, сказав себе мысленно: «довольно!» и точно вырвавшись на свежий воздух, отвернулся от нее и спросил у Маши:

— Как же вы совершили ваше путешествие по Фракии? Вот это любопытно...

— А! мое путешествие? — сказала Маша весело. — Лучше чем ожидала... Эти фуры, как их зовут здесь... кажется брошов?.. Они покойны... Мы с моею горничной все время лежали там.

Потом, помолчав немного, Маша прибавила:

— Я часто вас вспоминала дорогой... Особенно в одном греческом доме, где мне пришлось ночевать.

— Почему ж это вы меня так часто вспоминали? — спросил я с любопытством. (Я почувствовал в ту же минуту, что сильно краснею; но, заметив, что Богатырев на меня не смотрит,

а она, напротив, видит и понимает, до чего сильно ее слова на меня подействовали, я остался доволен этим невольным обличенным волнением самолюбия. Маша едва заметно, самым быстрым и только мне, прямо заинтересованному, уловимым выражением лица дала как будто почувствовать, что она видит и поняла. Какая-то тень удовольствия, какое-то подобие улыбки. Чуть заметная искра в глазах. Я не знаю, что такое, не умею описать.)

— Почему я вас вспоминала? Разве вы забыли наш разговор в Буюк-Дере? «La couleur locale», которую вы так любите.

И она рассказала прежде о грязных ханах, которые, однако, занимали ее своею оригинальностью. Потом о ночлеге и вечере, проведенном ею в городке Баба-Эски у одного богатого грека, русского подданного, которого мы оба с Богатыревым знали хорошо и сами не раз ночевали у него проездом.

Рассказ ее был очень жив и мил. Она хвалила чистоту и порядок этого дома: «на этом ночлеге она поняла меня лучше прежнего».

— Это в самом деле хорошо, — сказала она.

Ей понравился этот большой двухэтажный дом, выкрашенный темно-синюю краской с белыми цветами и разводами вокруг окон и дверей; понравились необыкновенно чистые, некрашенные полы просторных комнат; большие медные мангалы[8]; простые, широкие, покойные диваны сплошь вокруг комнат. В главной приемной диван был красный, шерстяной ворс все петельками, сотканный дочерью хозяина, молодыми девушками, оде- тыми по-местному, с пунцовыми толстыми шерстяными фартуками; в другой большой комнате, там, где ночевала madame Антониа- ди, диван также был домашней работы, весь из шестиугольников разноцветного ситца.

— Как хорошо они подобраны — эти кусоч- ки, с каким вкусом, — говорила Маша и по- том спросила: — Я только не могу понять, на что это у них на стене висит что-то плетеное из соломы и даже колосья пшеницы оставле- ны как бахрама с одной стороны?

Богатырев не помнил этого украшения, а я помнил его, но тоже не мог объяснить его значения.

— Вы поленились спросить у самих хозя-

ев, — сказал я ей. — Я вас понимаю. И я всегда этим грешу во время путешествия. Наблюдаю только то, что само напрашивается на внимание. Со стыдом я должен сознаться, что я систематически и терпеливо изучать страну могу только по долгу службы; тогда я делаю это охотно; а для себя все спрашивать, записывать, всего доискиваться, как делают европейские туристы и некоторые наши ученые — я не умею. Лень!

Богатырев прибавил к этому:

— А я еще хуже вас. Я не только не спрашиваю, когда дело не касается службы, но просто не обращаю внимания... и вижу гораздо меньше вас. Вы по крайней мере любите все то, что видите здесь, а я даже и не люблю. Вот хоть бы эти классические диваны вокруг стен; они покойны, конечно, но в них есть большое неудобство.

— Какое? — спросила Маша. Богатырев, улыбаясь лукаво, отвечал:

— С ними невозможны в обществе никакие tête-à-tête. Разговор должен быть непременно общим... если нет особых кресел и разных уголков. Здесь женщинам слишком не

доверяют, чтобы допустить такие уголки...

— Можно соединить, я думаю, и то, и другое: и диваны, и эти уголки. Я на своей квартире постараюсь так сделать, — сказала madame Антониади.

Так она, разнообразя беседу, «занимала» нас и в самом деле «заняла»! Богатырев и не заметил, как просидел у нее около двух часов, и собрался ехать, видимо, не совсем охотно.

Прощаясь с нами, madame Антониади сказала нам, что надеется обоим нас видеть у себя часто. Мы поблагодарили, обещали, сели на наших лошадей и уехали.

Домой мы прямо не поехали. В тот день была прелестная зимняя погода: было прохладно, светло, дул легкий ветерок; мелкая травка кое-где зеленела.

Богатырев предложил мне прокатиться за город, и мы весело поскакали по берегу Тунджи в ту самую сторону, откуда лет сорок тому назад пришли победоносные войска Дибича.

Мы долго ехали рядом по сухой и гладкой дороге. В воздухе было что-то ободряющее... хотелось какой-то веселой битвы, чего-то не

то лихого, не то задумчивого и музыкального. Я был невыразимо счастлив и молча думал о том — каким раем земным при ней будет теперь Адрианополь.

Я с особою любовью смотрел в этот раз на встречающиеся нам длинные болгарские обозы. Мне нравились всегда эти тяжелые арбы, медленно влекомые могучими, тихими буйволами; усатые, худые и крепкие хозяева в синих чалмах и бараньих шапках; их дочери и жены, покрытые чистыми белыми платочками, в темно-синих одеждах с беловатыми или бледно-розовыми (как мне казалось) мелкими отделками на юбках. Все это было так здорово, свежо, все это имело на себе печать такого эпически-мощного однообразия, что нельзя было не любоваться на подобную картину, в одно и то же время и родственную нам, русским, и совсем для нас новую.

Любовался я всегда, но теперь я предвидел, я знал, что мне будет с кем делиться мыслями и чувствами. Ни Богатырев, ни люди, подобные Чобан-оглу и Михалаки, ценить по-моему этих картин не умели. Для Богатырева и это была такая же «скука», как и общество по-

европейски одетых старшин, необходимых нам для политики; для самих же этих старшин быт простых болгар и греков (из среды которых они сами вышли) был только «полезною для политических целей наивностью» и больше ничего. Богатырев проходил мимо всего подобного с равнодушием и презрением; старшины смотрели на всю эту гомерическую поэзию с глупою улыбкой цивилизованного снисхождения и разве-разве с ощущением привычной с Детства теплоты.

Иначе ценил все это я тогда; я с восторгом во всем местном, окружающем меня, прозревал залюбованной незрелой, неразвитой еще греко-славянской самобытной культуры, полной силы, величия, красоты и страшной угрозы для Запада, ниспавшего до обыкновенного мещанского либерализма, до культа «машин», до господства газет и адвокатов, до сюртука и кепи, до канкана, ненавистных табльдотов и шансонетки...

Я надеялся обо всем этом говорить теперь с нею и ехал долго молча в тихом упоении.

Богатырев тоже очень долго не говорил ни слова; вероятно, он думал о шестнадцатилет-

ней невесте своей.

Наконец мы повернули коней домой.

— Пора обедать, — воскликнул консул и, подумав еще немного, сказал мне особенно густым басом и как-то мрачно:

— Однако ваша одесская Марья Спиридоновна недурна... Только у нее язычок все «между зубами».

— Вы этого не любите? — спросил я.

— Что ж тут хорошего? — отвечал Богатырев. — Вы, кажется, уж «втрескались» в нее сразу; вот вам все и нравится.

Несмотря на этот неблагоприятный отзыв и на грубоватый тон, с которым Богатырев отозвался о Маше Антониади, я бы не поверил ему при других обстоятельствах. Я принял бы эту выходку его за хитрость и считал бы его очень опасным соперником, если б у меня были тогда какие-нибудь, я не говорю непременно порочные, цели, но и просто определенные цели. Богатырев был молод, моложе меня; красив, мужествен, ростом очень высок, одевался изящно и со вкусом. Борода у него была темно-русая, густая, глаза какие-то купеческие, томные и хитрые; бас

его был очень приятен, держал себя он гордо; имел огромное влияние в стране, был тверд и лукав; серьезной образованности или начитанности у него было, положим, очень мало, но в моих собственных глазах этот недостаток не был недостатком; мне в Петербурге уж наскучили «вполне современные» люди и мне очень нравился этот богатый и надменный московский «матушкин сынок», в котором так хорошо и «национально» сочеталась какая-то помещичья, сознательная и преднамеренная грубоватость с самыми утонченными европейскими преданиями. Читал он, до знакомства со мною, это правда, очень мало, и товарищи в посольстве говорили про него со злостью (из зависти к его успехам по службе): «он этой дурной привычки — читать книжки — не имеет». Я уговорил его, однако, немного побольше читать, чтоб и в этом не быть вовсе уж хуже других, и заставлял его иногда над Гизо или Макколеем, и он, вставляя в глаз монокль, взглядывал на меня с надменной улыбкой и говорил: «Слушаюсь вас, слушаюсь, видите... читать начал!»

И я замечал, что он все прочитанное пони-

мал скоро и верно, лучше многих, постоянно читающих.

Богатырев был бы ужасным и непобедимым соперником, если б он не был так занят в это время невестой. Он все досуги свои от службы употреблял на переписку с нею и с ее матерью. По целым часам разглядывал ее портрет и перечитывал по нескольку раз ее французские письма. «Ecoulez donc!» — так начинала она одно из своих последних писем. И Богатырев восхищался, смеялся и повторял при мне: «Как она пишет: Ecoulez donc! Какая она милая и смешная!»

Я, конечно, думал про себя, что тут нет ничего особенного и что «язычок на зубах» гораздо обворожительнее, чем это вступление: «Ecoulez donc!», но молчал и очень радовался, что Богатырев так увлекается другою.

Если б он занялся Машей и сумел бы усыпить как-нибудь своею чрезвычайно ловкою бдительностью мужа, то, кто знает, что могло бы случиться!

Но при том настроении, в котором тогда был мой молодой начальник, он был мне очень полезен. Он мог ходить туда вместе со

мною и занимать разговором мужа.

Соображая все это, я и сказал ему тут же:

— Однако, согласитесь, что дом Антониади будет большим для нас здесь ресурсом?..

Богатырев в ответ на это улыбнулся и заметил:

— Ну смотрите, батюшка...

— Что ж смотрите. Разве нельзя к ним ходить? Она сама зовет нас.

— Ходить можно, только осторожно! Я на самого Антониади сильно рассчитываю *pour les affaires du pays*... Надо мирить теперь греков с болгарами, чтобы западные товарищи наши не удили рыбу в мутной воде. Антониади — человек, видимо, умеренный и в местные интриги и страсти еще не запутанный. Понимаете? Ходить не только можно, даже должно. Виллартон (так звали английского консула) уже начал ухаживать за ним... Наш Михалаки все это проведал и донес мне сегодня... Виллартон начал что-то опять бегать по купеческим конторам, у самого Антониади был два раза и угощал его уж обедом... *Soyons vigilants, mon cher!* А если вы увлечетесь слишком Марьей Спиридоновною, вы воору-

жите его против себя и лишитесь, на случай моего скорого отъезда, хорошего и влиятельного союзника... Распря между греками и болгарами здесь, слава Богу, не так уж сильна, как в Филиппополе, где сам русский консул из болгар, и его, несмотря на все мои старания, почему-то не хотят удалить оттуда... Поэтому мы не должны портить нашего здесь личного положения...

— Я все это, кажется, понимаю и сам, — отвечал я немного раздражительно. — Но от удовольствия беседовать с порядочною женщиной, которая говорит по-русски и даже русских поэтов читает, до увлечений любви и до промахов по службе еще очень далеко...

— Знаем мы эти «чтения» русских поэтов! Мне, впрочем, ведь все равно; я для вашей пользы... Поскачемте лучше опять; пора нам домой. А бывать можно, конечно. Мы опять, если хотите, вместе пойдем к ним. Я на него даже имею особые виды!

Тем кончился разговор наш в этот день с Богатыревым.

Советы Богатырева быть поосторожнее возбуждали во мне досаду, потому именно, что я и без него намерен был не позволять себе ничего лишнего.

— Зачем учить меня тому, что я сам знаю не хуже его? Он очень лукав, и я готов подозревать его во всякой хитрости... Посмотрим еще, как он сам будет вести себя!.. Разве мало людей, которые позволяют себе развлечения в ожидании отложенной надолго свадьбы, даже и с девушкой любимую до некоторой степени?.. Я буду следить за ним... И уступать ему ни шагу не намерен! Другое дело чтить права мужа; другое дело уступать его претензиям.

Но подозрения мои оказались напрасными; Богатырев действительно думал больше о том, чтобы расположить мужа к русской политике, чем о том, как бы понравиться жене. После первого нашего визита супругам Антониади он в течение целого месяца ни разу у них в доме не был; но вместе с Канкелларио был у Антониади в конторе раза два, и Антониади один раз у него завтракал.

Я на этом завтраке не присутствовал и не

знаю, о чем они говорили; но Богатырев остался доволен хиосским торговцем.

— Антониади очень порядочный человек, — сказал он мне потом. — Он своею порядочностью больше похож на фанариота, чем на этих провинциальных греков. Я даже заметил, что он, должно быть, каждый день меняет белье... — Вы заметили?..

— Да, заметил, — отвечал я, — он всегда хорошо одет и, кажется, даже саше кладет на свои вещи... Хорошо пахнет от него...

Богатырев засмеялся и, поспешно вставив в глаз монокль, чтобы лучше меня видеть, воскликнул:

— А! Ну уж это, поверьте, она!.. Она сама кладет ему саше! Марья Спиридоновна! Поверьте, что она... где бы ему!

— Верю, верю! — сказал я весело. — Что ж за беда?.. Пусть кладет!

Я не только не досадовал на Богатырева за подобные шутки; я почти наслаждался ими: при невозможности часто видеться с Машей для меня было истинною радостью слышать ее имя и иметь самому возможность упомянуть о ней в безвредной и случайной, не

мною даже вызванной беседой.

Этот первый месяц мы виделись с ней всего три раза, и первые два раза почти мельком. Она была все это время очень занята: делала визиты женам консулов и разным адрианопольским «коконам» в платочках и плохих шляпках, вроде г-жи Чобан-оглу или той язвительной родственницы мужа, у которой они остановились по приезде своем. Их было так много! Коконка Евгенко, коконка Катинко, коконка Аоксандра, коконка Клеопатра... Все скучные, завистливые, крикливые, однообразные, церемонные супруги торговцев, медиков, консульских драгоманов и вообще членов той христианской «интеллигенции», которая первенствует в коммерческих делах турецких городов, деятельно правит местную политику в спокойное время и почти вся куда-то скрывается, когда события принимают более грозный и хотя сколько-нибудь опасный для жизни характер... Я понимал, как все это было несносно и тяжело для бедной madame Антониади; я знал по опыту, какой это подвиг, какое это несносное общественное тягло — беседа этих дам!.. Кончила она

визиты, — сами дамы эти с мужьями как поток полились к ней обратно!.. Их надо было ждать, им надо было улыбаться, их необходимо было задобривать для пользы мужниных сношений...

Антониади сам, встретившись со мной на улице, сказал мне:

— Жена моя очень устала. — И прибавил с небольшою, чуть заметною гримасой досады: — Эти визиты! Вы знаете!..

О «людях» он не позволил себе ничего сказать.

Обремененная этими посещениями и беспокойством о том, как бы не оскорбить кого-нибудь и не создать мужу врагов, madame Антониади была в то же время до огорчения озабочена хлопотами о будущей квартире своей. С мужем у нее по этому поводу были несогласия.

Я долго надеялся, что они поселятся неподалеку от нас.

И моя квартира, и консульство были в турецком предместьи Кыик, высоком, просторном и красивом, недалеко от восхитительной мечети Султан-Селима и от выхода за город к

старому турецкому кладбищу на краю высокого обрыва, за которым река Тунджа вилась по тучному лугу, где высились полуразрушенные башни и шумели пышные, вековые вязы и тополи Старого Серая.

Мы предпочитали чистый воздух этого живописного мусульманского предместья; но Антониади, хотя и жил долго в Англии и с виду, как справедливо заметил Богатырев, напоминал благовоспитанного фанариота, был все-таки хиосский грек-купец и без своих греков (и даже без болгар торгующих) ему, должно быть, было скучно. Ему нужно было быть поближе к ним ежеминутно, и он нанял большой и довольно хороший дом в самом тесном и людном месте старой цитадели, в Кастро, где гнездится православная «интеллигенция» города, вместе с евреями и армянами, подальше от турок и потеснее. Напрасно жена просила его нанять дом богатого бея недалеко от нас; дом этот был ярко-голубого цвета, на большом дворе, за решеткой и палисадником, и на одном конце палисадника был окнами на улицу построен очень милый киоск с разноцветными стеклами. Может быть, в этом

киоске бедная Маша хотела бы читать какую-нибудь увлекательную книгу в ожидании, что вот-вот раздастся стук копыт и выеду я из-за угла на вороной моей лошадке, которая бежала такую красивую иноходью и с таким возбуждающим звоном подков по грубой мостовой, — выеду я на вороной этой лошадке, в круглой шапочке набекрень и в шубке, лихо подтянутый ремнем, в шубке лисьей, в шубке русской такой, в шубке такого же ярко-голубого цвета, как дом того бея с киоском или как июльское небо теплых стран. И выеду я, и подскачу к киоску со скромною лихостью, и прищелкну, пристукну чем-нибудь, чем придется, и остановлюсь, и скажу: я в русской шубке, в русской шапке, в турецком квартале, у киоска турецкого, скажу ей... милой... Что я скажу ей? Что-нибудь самое простое сначала, приподнимая шапку: «La matinée est bien belle, n'est ce pas?»

Но Антониади сказал себе: «Это невозможно! Дела мои требуют, чтоб я в Кастро нанял квартиру...» И не только жена убеждала его нанять небесный дом бея с пестрым киоском; его уговаривали нанять дом поближе к нам и

французский консул, и английский, у которого был тоже в Къике собственный дом, и тот говорил ему, «что здесь воздух лучше и мы все (то есть консульское общество) ближе». Но упрямый и хладнокровный Антониади никого не слушался. Раскачиваясь по привычке слегка и чуть заметно с каблуков на носки и опять назад, он гладил черные бакенбарды свои большою и красивою рукой и отвечал на все доводы почти одно и то же... Не знаю, что он говорил дома жене... не вооружался ли он в прозорливо-ревнивом сердце своем немножко и против той бель-вю с пестрым стеклом, где восхитительная Маша могла, мечтая, возводить к небу хитрые, глубокие и черные очи свои и снова опускать их долу, прислушиваясь к топоту копыт. Не знаю, не знаю, что он ей говорил. Может быть, он ей сказал: «Не хочу, чтобы ты была близко...» Нет, нет, не знаю, что он мог ей сказать. Но французскому консулу он отвечал при мне очень вежливо, почтительно и твердо:

— Это невозможно. Дела мои требуют, чтоб я в Кастро нанял квартиру.

— Здесь ближе ко всем нам, — возразила

еще раз жена французского консула. — Madame Антониади женщина европейского воспитания; она никогда не сойдется со здешними дамами. Ей будет скучно в Кастро.

— Мы будем ходить сюда... она любит ходить пешком... мы будем часто ходить сюда.

Французский консул сказал тогда Маше:

— Что ж мы будем делать с пословицей: «женщина хочет — Бог хочет»?

— Эта пословица сделана для всех, кроме г. Антониади, — отвечала Маша с такою явною и даже неуместною досадою, с таким движением самого дурного чувства, что всем стало неловко. Все замолчали и переменили разговор.

В первый раз я видел тогда, что Антониади смутился, покраснел и почти потерянно улыбнулся. Мне показалось в этот день, что они очень несчастны и почти ненавидят друг друга.

Я не настолько был низок, чтоб обрадоваться этому корыстною радостью. Напротив того, мне стало вдруг очень грустно глядя на них. Эта «невыдержка», эта бестактная и неприличная, хотя и минутная ссора с мужем

при людях совершенно чужих и вовсе, быть может, недоброжелательных, возбудила во мне какой-то стыд за нее и вместе с тем опять ту братскую жалость, которая была мне так знакома еще с Буюк-Дере.

Итак, насчет выбора местности Антониади был непоколебим, и снисходительность его к жене выразилась только тем, что он (как я узнал от нее после) ни словом, ни взглядом, ни намеком не упрекнул ее за ее немного грубую выходку в доме французского консула, а напротив того, объявил ей очень любезно, что она может искать дом в Кастро, не стесняясь в цене, не думая о расходах.

Маша нашла немного старый, но удобный дом в одном особенно тихом переулке. Он был снаружи белого цвета, с какими-то турецкими изображениями и надписями в виде золотисто-желтых круглых щитов около окон и над воротами. Белый цвет стен этого дома, который казался бы столь несносным в Афинах, Корфу или в наших новороссийских городах, где все почти дома белые или желтые, здесь, в этом адрианопольском Кастро, почти сплошь красноватом, кирпичном, розовом,

темно-красным, производил приятное и веселое впечатление. Маша, у которой потребность тонкого вкуса и тщеславие были гораздо сильнее «экономии», очень обрадовалась позволению мужа не думать о расходах и велела все подновить, выкрасить, починить, побелить снаружи; убрала внутри как можно милее, и немного ветхий дом стал красив и свеж, как «бомбоньерка». Снаружи не было и следов осыпавшейся штукатурки; внутри стало тепло и пестро; резные и цветные деревянные потолки сияли новыми красками. Везде запахло духами и свежим тесом. На дворе, где прежде посреди дикого высокого бурьяна было видно лишь несколько кустов «Божьего дерева», теперь проводились дорожки и намечались клумбы в ожидании весенних цветов. Вот тут-то, недалеко от ее нового жилища, мы с ней встретились второй раз случайно на улице и, остановившись, поговорили не больше двух минут; она была расположена продолжать разговор и предложила идти вместе, но я позволил себе отказаться и сказал ей так:

— Вы еще не знаете здешних нравов. Если бы мы встретились в турецком квартале, то

можно было бы вместе пройтись: турки живут в особом мире, и отношения их к женщинам до того не похожи на наши, что они едва ли могут и понять, что у христиан прилично и что неприлично. Я думаю, им все кажется неприличным. Мимо турецких домов я бы охотно прошелся с вами. Но здесь, в центре города, это невозможно. Здесь живут всё гречанки, армянки, болгарки. Им скучно, в жизни их только и есть, что хозяйство и любопытство, полное зложелательства. Они сами не умеют ни говорить с мужчинами, ни чувствовать ничего идеального и потому самую простую вещь объясняют по-своему. Я слишком дорожу вами и вашим обществом, чтобы не беречь вас... Поймите!

Я в самом деле был уверен, что эти пять минут, в которые мы с madame Антониади простояли друг пред другом на узкой улице адрианопольского Кастро[9], не прошли для нас совершенно безнаказанно. Я был убежден, что из окошек всех этих домов, высоких и тесно построенных, уже смотрят на нас десятки женских глаз с болезненным любопытством, завистью и с готовностью даже на кле-

вету.

Маша поблагодарила меня, поняла и ушла поскорей в одну сторону, а я в другую.

Третий раз мы поговорили с ней подольше и посвободнее.

Богатырев остался верен своему намерению ухаживать за мужем, и мы вместе, выждав время, приехали к ним с визитом в праздник до обеда, нарочно в такой день, когда торговые конторы были закрыты и Антониади был дома.

Богатырев много говорил с ним, а я с ней; были и общие разговоры.

Богатырев старался доказать мужу, до чего Виллартон вреден здешним христианам.

— Он на все способен, — говорил консул, — с ним надо соблюдать величайшую осторожность. Он целый день живет в конаке паши, даже роняет этим свое достоинство; он фамильярно сходится со всеми и потом готов доносить туркам на всякого; он держался за греков, пока думал, что все болгарские старшины очень преданы России, но как только стали ясно обозначаться в болгарской среде разные партии, он стал потворствовать униат-

ству, несмотря на то, что он как протестант должен бороться здесь против римской пропаганды. И теперь он друг всем тем болгарам, которые против греков и против нас...

Антониади слушал его почтительно, но, казалось мне, не совсем доверчиво, и даже возражал иногда с большою осторожностью, как будто бы он больше справлялся и по-учался, чем возражал.

— А нельзя ли подумать, — (говорил он, например), что под этим г. Виллартон скрывает свою настоящую игру? Не таится ли тут еще что-то?

Богатырев, недовольный, краснел, лицо его делалось мрачным и надменным, и он отвечал почти грубым тоном:

— Я его знаю! Я это говорю... Ничего больше, кроме того, что я знаю, не может у него таиться. Виллартон дипломат плохой и чувств своих скрыть не умеет. Обманывать и быть шпионом у турок, это еще не дипломатия.

Антониади спешил, по-видимому, уступить.

— О! я не спорю. Я политикой вообще мало

занимаюсь, а потому я не компетентен в подобных делах. Вы, конечно, господин консул, посвящены во все тайны и лучше можете судить, чем я. Я только позволяю себе спросить.

Богатырев, успокоившись, начинал опять объяснять ему, как необходимо теперь, особенно при новом учреждении здесь вилайетов и при новых пашах, крепко сплотить христианскую общину, не различая болгар от греков, и всем православным стать заодно против совокупного действия Виллартона и католических консулов. Надо прекратить эти распри между болгарами и греками за церковь в предместье Киречь-Хане, где во время богослужения еще на днях один грек по имени Калиас обнажил нож для устрашения болгар и т. д.

— *C'est affreux!* Какое поругание святыни! — хладнокровно покачивая головой, сокрушался Антониади.

А мы между тем с нею в другом углу комнаты говорили о другом. Мы говорили о «множестве миров» и о «загробной жизни».

Я взял случайно в руки книгу Фламариона, которую Маша положила около себя на

столик в ту минуту, когда мы вошли, и, рассеянно взглянув, раскрыл ее на том месте, где она загнула угол. Это было на той странице, где описывались особого рода люди, вечно плавающие в жидкой розовой атмосфере небесного тела.

Маша заглянула тоже в книгу и сказала:

— Да, вы застали меня в хорошую минуту... Я читала о людях, которые все должны видеть в розовом свете.

— А есть еще тут и другие люди, у которых всегда «ушки на макушке», — заметил я и напомнил ей о тех обитателях иных миров, у которых одно ухо на верху головы.

— Что значит «ушки на макушке»? — спросила с удивлением madame Антониади, — это верно русская поговорка? Я ее не знаю... Что она значит? У русских так много хороших поговорок... Они мне нравятся по инстинкту даже и тогда, когда я плохо понимаю их.

— «Ушки на макушке» — значит, сколько я понимаю, осторожность, — ответил я.

— Вот как! — сказала Маша с особою значительностью и потом продолжала серьезным и почти печальным тоном: — Не знаю,

прав ли этот Фламарион, хороший ли он астроном или нет. Но мне как приятно думать, что мы не одни на свете и что на других звездах может быть жизнь счастливее нашей.

— Ведь вы сказали, — перебил я, — что вы сегодня расположены видеть все в розовом свете...

— Да, только эта книга напоминает мне очень тяжелые дни в моей жизни. Когда я потеряла старшего моего сына (это был мой первый ребенок), я долго не могла молиться и только все читала астрономические книги...

Признаюсь, мне показалось немного смешным и неловким это выражение «des livres d'astronomie» (она очень скоро переменила русский язык на французский, нарочно, мне кажется, для мужа, который по-русски знал очень мало и у которого были, может быть, в это время именно «ушки на макушке», и не оттого ли, кто знает... он так сухо относился к политическим внушениям Богатырева?). «Des livres d'astronomie!» «Не могла молиться!» А между тем она говорит о таком важном событии в жизни женщины, о такой святыне материнского сердца, как смерть любимого сы-

на и первого ребенка! Я нашел эти слова бес- тактными; но счастье мое было в том, что я вовсе не идеализировал мадам Антониади... Она мне нравилась такою, какою она мне представлялась, и все маленькие слабости ее тщеславия, как светского, так и книжного, мне казались привлекательными недостатками, без которых она была бы хуже и скучнее.

Поэтому и эта неловкая «книжность», в которой самолюбие мое прочло прежде всего желание и этим, между прочим, понравиться мне, не отвратили меня от нее, а только расположили поскорей переменить разговор. Я спросил:

— А ваша дочь?.. Я ее не вижу. Где ж она?

— Моя дочь была не совсем здорова, она осталась у бабушки своей в Константинополе, у родной тетки моего мужа... Но она скоро будет сюда с гувернанткой... Я их жду с нетерпением...

Потом, помолчав, Маша спросила меня по- русски и потише:

— Прошу вас, ответьте мне откровенно на один очень трудный вопрос... Вы согласны?

— Постараюсь...

— Верите ли вы в будущую жизнь? В жизнь за гробом...

Я остановился в недоумении. Такого решительного, такого громоносного вопроса я не мог никак предвидеть! Не говоря уже о неожиданности такого вопроса (и тем более в присутствии двух деловых людей, которые могли обоих нас с ней осмеять, прислушавшись к нашим словам). Я еще и потому не вдруг собрался ей ответить, что сам в то время (как далеко оно теперь! Как оно чуждо мне — это время!), я сам еще не постиг, как именно и в каком смысле я верю в мир невидимых духов и в загробную жизнь. Правда, в Бога я верил пламенно и разумом, и сердцем: разумом я верил прежде всего в том смысле, что не мог понять, как бессознательная природа могла бы без полного и высшего сознания сотворить неполное и низшее наше личное сознание? Каким образом слепой творец-природа может быть ниже познающего эту природу — человека? Сердцем я тоже верил; в иные минуты я молился; я обращал с глубоким вздохом взгляды мои к небу, к распятию или к родной иконе во дни горести

слишком сильной или в часы радости внезапной и живой, или в минуты страха за мою жизнь и за мое земное будущее... Но это случалось редко, очень редко! Церковь Православную я чтил, я любил ее всеми силами души моей; но я любил ее больше русским и поэтическим чувством, чем духовным или нравственным. Обряд ее, ее пышность, ее предания, утварь и одежды, ее пение — вот что влекло меня к ней; но моими поступками и моими суждениями о людях в то время, всею моею нравственною жизнью тогда руководило не учение Православия и не заповеди Божий, а кодекс моей собственной гордости, система моей произвольной морали, иногда, быть может, и благородной, но нередко в высшей степени безнравственной. Если я скажу, что я не только думал, но и говорил тогда часто: «лучший критериум поступков — это что к кому идет», то этим я, кажется, скажу все!

Понятно после этого, до чего смутны были мои представления об отношениях загробной жизни к земной и как мало «небесные венцы» принимались мной в расчет тогда при решениях моей нравственной жизни. Венец

самолюбия довольно строгого, который я сам возлагал на себя, когда находил себя этого достойным, был мне дороже рая, о котором я (несчастный!) и не умел тогда думать; и внутреннее самоуничижение или заслуженная злая насмешка людей были мне страшнее гнева Господнего...

И если теперь, когда я совсем переменялся и так много обо всем подобном передумал, когда я верю совсем иначе, мне надо многое вспомнить и о многом помыслить, чтобы быть в силах написать и эти немногие строки, что я мог ответить ей тогда и так внезапно, как она этого требовала?

Я ответил, однако.

— Верю ли я в загробную жизнь? — переспросил я. — Да, не верить в нее глупо. Материализм — философия слишком уж простая, пустая, грубая. Однако турок верит в загробную жизнь по-своему, христианин по-своему, ваш Фламарион опять иначе.

— Нет, подождите, — перебила меня madame Антониади, — я спросила не так: верите ли вы, что души, которые здесь на земле не могли соединиться, потому что им в этом

препятствовало очень многое, за гробом будут наслаждаться симпатией своею безо всяких препятствий, безо всяких тогда стеснений? — повторила она с жаром. — Вот я что хотела спросить...

Говоря это, она смотрела на меня как всегда или, вернее сказать, равнодушнее обыкновенного; она как будто нарочно старалась придать милому лицу своему самое покойное и бесстрастное выражение...

Несмотря на этот оттенок (казалось мне, преднамеренный) я принял этот вопрос хотя и не за прямое объяснение в любви, но за ободрение слишком явное и, внутренне смущаясь от радости, ответил так:

— Не знаю, имею ли я право верить в такого рода симпатию; но до чего желал бы верить в нее, это я знаю хорошо!

Мы поглядели друг на друга молча, и Маша первая из нас опустила глаза. В эту минуту опять раздался громкий бас Богатырева, я не расслышал всех его слов... Я слышал только:

— ...Никогда! О, никогда!., (он даже громко и с негодованием засмеялся). Россия не может

держаться в греко-болгарском вопросе и ни в каком другом односторонней славянской политики. Если вы вспомните, что есть на свете поляки и другие католические славяне, то вы поймете, что я прав...

Сказав это, молодой консул встал и подошел к нам. Мужественное и серьезное лицо его озарилось лукавою веселостью.

— Мосье Ладнев вам проповедует что-то?.. Какую-нибудь свою ужасную ересь? Я угадал?

— Нет, вы не угадали! Напротив того, я исповедую мосье Ладнева, — сказала madame Антониади с ударением на я.

— И что ж, он кается?

— Кается...

— Нельзя узнать — в чем? — спросил, в свою очередь улыбаясь, Антониади.

— Разве духовник имеет право передавать эти тайны?.. — отвечала Маша.

Антониади шутя извинился.

Богатырев между тем взял со стола книгу Фламариона, поднес ее как можно ближе к своим близоруким глазам и, всмотревшись, воскликнул:

— А! высшая философия!.. Міры... міры

иные...

— Жена моя всегда «в пространствах» (dans les espaces), — заметил Антониади не без язвительности, как мне показалось.

Маша ничего на это не ответила. Она как будто была чем-то недовольна.

Богатырев взялся за свою боярку, но Антониади точно как будто только этого и ждал.

— Monsieur le consul, — сказал он с легким оттенком искательности в лице и манерах (с очень легким, впрочем), — я виноват, не желая прерывать ход тех в высшей степени интересных политических соображений, которые вы излагали мне сейчас, не успел сделать вам одного весьма нужного для меня вопроса. Я желал бы знать, могу ли я, имея паспорт греческого подданного, пользоваться в делах коммерческих и вашею защитой в случае нужды? Без лести скажу вам, я ото всех слышу о преобладании здесь русского влияния.

Богатырев сильно покраснел. Я догадался, что он вспыхнул от радости. Дорогая и редкая коммерческая птица сама рвалась в его консульские силки.

— Мы подумаем, как это устроить, — отве-

тил он задумчиво и значительно, потом, улыбнувшись, обратился к Маше и прибавил: — В Турции нет ничего невозможного. Это составляет единственную прелесть нашего здесь существования.

После этого мы простились и ушли. Дорогой у нас с Богатыревым был оживленный разговор о супругах Антониади. Богатырев сказал мне:

— Вот вы там в углу совращали жену с пути истинного, а я мужа обращал на путь истинный. У вас все звезды там да небеса... А мы люди *terre à terre*, знаете! — Посмотрим, кто из нас скорее успеет!

— Вы все о моих успехах, — отвечал я с жаром искренности, — могу вас уверить... я готов божиться и честное слово вам дать, что я никаких целей не имею. Я бы и мужу самому готов был бы присягнуть всем священным в том же, лишь бы он мне позволил почаще проводить время и разговаривать с этою милою женщиной.

— Позволит, погодите, позволит... Я за вас постараюсь. Дайте мне забрать его в руки в делах, и тогда он сам будет приглашать вас

читать жене «про звезды».

Богатырев говорил все это с большим добродушием; его видимо несколько тронула та нота искренности и честного чувства, которые звучали в моих словах...

— Что же вы думаете сделать, чтоб доставить ему русскую протекцию на случай надобности? — спросил я.

— Подумаю, — отвечал консул, — поговорю с нашим адрианопольским Меттернихом, Михалаки Канкелларио. Надо вырвать непременно Антониади из рук Виллар-тона. Антониади не дурак; в политике умеренного взгляда; богат, довольно сведущ... Он будет нам очень полезен для умиротворения христианской общины. Михалаки наш придумает, измыслит!..

И Богатырев был прав; Михалаки придумал!

XIII

После этого последнего визита нашего, после этих речей о симпатии сердец и загробном соединении душ, на земле разделенных неодолимыми преградами, настал для меня

невыразимо светлый праздник жизни. Он длился долго, всю остальную часть зимы, всю весну и все лето... Были препятствия, была борьба, наставали тяжелые дни. «Скорби, нужды, гнев», об устранении или смягчении которых мы так постоянно молим Бога в христианском храме, конечно, не исчезли на все это время мне в угоду с лица земли. Были и скорби, томили нужды, и гнев обуревал не раз; случалось, и самый тяжкий род гнева — гнев бессильный.

Я не знаю, мог ли хоть один человек когда-нибудь и где-нибудь прожить полгода, месяц даже, без этой преходящей боли тонких и тайных ощущений.

Конечно, все это было, и о многом я помню живо и с болью до сих пор. Но чтобы даже и мне самому стало яснее теперь, почему я считаю счастливым этот год, я скажу вот что: хотя я был и молод в то время, но молод не опытом, а только годами и еще более характером. В лета самой первой юности, при самом вступлении моем в сознательную жизнь, тогда еще

Когда мне были новы

Все впечатленья бытия...

я испытал много душевных лишений, мук и обид; но жизнь мне нравилась. Я стал учиться пользоваться ею.

После первых удач, сообразных с моими идеалами, я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непримиримыми вовеки, и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой живописной драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным, мистически неразгаданным.

Приучая себя к борьбе, я вместе с тем учился как можно сильнее и сознательнее наслаждаться тем, что посылала мне судьба. Немногие умели так, как я умел, восхищаться розами, не забывая ни на миг ту боль, которую причиняли мне тогда же даже и самые мелкие шипы!

Люди любят рассказывать о том, как они нестерпимо страдали, я же хочу здесь рассказать о том, как и чем я был счастлив в то время.

Малым ли я был доволен или я требовал многого разом — я не знаю; об этом судить не

мне.

Я не забуду, конечно, в рассказе моем и этих «шипов на ветках розы», но, право, они были так ничтожны!

Так все ладилось тогда само собою, так удавалось! Так счастливо выросло из самых ничтожных обстоятельств. Все возбуждало меня идти смело на битву и на радость.

Опять ожили вокруг меня картины любимого Востока; опять защебетали птички; лица на улицах повеселели; обнаженные зимние сады стали еще узорнее и милее прежнего, движение пестрых и грязных базаров осмысленнее и живописнее. Прежде все это было похоже на драгоценную, прекрасную рамку, в которой еще нет полотна, или на полотно которой нет милого образа; теперь на меня из разноцветной рамы этой взирают добрые, большие, черные «очи» и светит мне знакомым светом лукавая улыбка — не то небесная по кротости, не то заманчиво и неуловимо растлевающая — не знаю, какая, но знаю, как она светит мне. И все мне кажется, что только мне одному!

Стояли теплые дни, и солнце было ярко; я

восхищался тем, что я на юге. Начиная падать снег, и становилось холодно; я рад был огню печей и мечтательно вспоминал о милой и бедной родине моей, так недавно и так жестоко покинутой мною! Все силы мои удвоились; я стал и деятельнее по службе, и приятно-ленивее во время отдыха; я стал и добрее, и в то же время до злости смелее; я больше мыслил (мне казалось так), чаще пел и декламировал стихи и дома (погромче), и в дальних кварталах на прогулке (вполголоса и оглядываясь):

Свеж и душист твой роскошный венок,
Всех в нем цветов благовония слышны;
Кудри твои так обильны и пышны,
Свеж и душист твой роскошный венок.
Свеж и душист твой роскошный венок,
Ясного взора губительна сила.

Нет, я не верю, чтоб ты не любила:

Свеж и душист твой роскошный венок.
Свеж и душист твой роскошный венок,
Счастью сердце легко предается,
Мне близь тебя хорошо и поется.

Свеж и душист твой роскошный венок!..

Я пел и декламировал. Я делал новые по-

дарки Велико и другим домочадцам своим, чтоб и они чувствовали, до чего мне хорошо теперь, чтоб и они всегда помнили меня именно в это время!

Конечно, одно только присутствие Маши Антониади в городе, один только осторожный намек ее на любовь не могли бы так очаровательно и сильно, сразу и надолго вдохновить меня. Нет, кроме чувства ее близости, кроме ее намеков, были и другие поводы к веселому напряжению душевных сил моих. Сама по себе адрианопольская жизнь к середине этой зимы стала гораздо занимательнее и оживленнее. Всеобщий подъем духа на Востоке и в Европе отзывался и здесь. В Крите уже давно геройски бились греки; в центре Европы подымалась новая грозная сила — униженная Австрия облачалась для прикрытия своей политической нищеты в подновленную и поношенную мадьярскую одежду; в Балканах ждали волнений; в дальнем Петербурге давали балы в пользу критян; славяне собирались пировать на съезде в России. Сербия грозилась вступить с Элладой в союз против султана, и некоторые из фракийских болгар, пре-

увеличивая себе расстройство Турции и силу Княжества (впоследствии оказавшуюся столь малою), уже начинали бояться, что сербы пройдут беспрепятственно чуть не до Царьграда и захватят себе часть их земель.

Другие в городе опасались вспышки мусульманского фанатизма. В то время еще были живы многие люди двадцатых годов; они помнили со свежестью детской памяти прежние казни, помнили слезы, крики женщин, видали кровь и бледные лица отцов и родных своих.

Христиане и в городе, и в ближних селах были робки; восстания никто здесь не ждал, но боязнь избиений, подобных сирийским, была от времени до времени сильна.

Турки со своей стороны принимали меры, спешили реформами, передвигали войска. Прибыли с этою целью из Константинополя вместе двое пашей: Хамид-паша — генерал-губернатор всей области, худой, высокий, важный и почтенный, и губернатор округа Ариф, толстый, низенький босняк, игравший в славянскую популярность, умный, просвещенный, но лукавый до низости и бесстыд-

ства. Учреждались новые области — вилайеты и новые суды.

Адрианополь в то же время наполнился поляками. Сначала, когда я еще в первый раз видел Велико верхом на базаре, в городе стояла небольшая часть этой кавалерии.

Молодцеватые белокурые офицеры в фесках и с кривыми саблями гордо ходили по городу, встречались с нами в обществе; явились и дамы полковые; показались лишние противу прежнего кареты; всадники, драгуны и казаки гарцовали по улицам. Высокий, энергический, полный и красивый Мурад-бей, граф Доливо-Ландцковский был заметнее всех; Вехби-бей, пожилой и почтенный полковник (когда-то просто — Вержбицкий, офицер русской службы на Кавказе), приехал с женой, еще довольно молодою, и двумя белокурыми дочерьми, у которых волосы были необыкновенно густы, светлы и красивы.

Все вокруг меня, и вблизи, и в отдалении, было возбуждено, взволновано, тревожно. Все становилось крупнее и как бы осмысленнее; все ждали общего пожара национальных и религиозных страстей. Все спешило куда-то

вдаль, все было в движении... Все отражалось и на мне: все меня возбуждало, веселило; все придавало боевой и многозначительный характер даже нашему письменному с Богатыревым труду. Я помню, однажды я сидел ночью в канцелярии консульства и кончал большой, срочный труд к проезду из Руцука в Царьград русского верхового курьера. Богатырев, который вообще готов был заниматься делами еще больше моего, на этот раз устал и удалился на покой. На дворе была оттепель; ночь была не морозная, а только прохладная, какие бывают у нас в сентябре. Железную печку натопили слишком жарко, докрасна, и я, раскрыв окно, чтоб освежить и увлажнить слишком высохший, горячий воздух комнаты, продолжал с одушевлением трудиться. Канцелярия была в нижнем этаже, но окна были настолько высоки, что пешеходы не могли меня видеть. Да их почти и не было; было уже очень поздно, и темная улица была безмолвна. Как вдруг раздался крик и громкий свист; застучали по мостовой конские копыта... Я слушал. Стук копыт приближался; раздался свист еще громче и ближе... Верхово-

вые поравнялись с окнами моими... Я не знаю до сих пор, что это было — запоздалая турецкая верховая почта или верховой какой-нибудь объезд... Я продолжал писать.

Всадники, поравнявшись с окнами нашими, примолкли; они, должно быть, придерживав лошадей, смотрели на меня. Я был ярко освещен свечами.

— Пишет! — сказал один из них громко.

— Кто это? — спросил другой, и они проехали. Топот и крики опять на мгновение усилились и потом мало-помалу затихли. Я вообразил себе чувства этих мусульман (а может быть, и поляков) при виде пишущего русского. «Что он может писать, кроме вредного нам?», и хотя мне лично и турки, и польские офицеры очень нравились, я с удовольствием и с улыбкой гордости вспомнил об их политической ненависти и сказал себе:

— Как бы, может быть, было им приятно теперь бросить мне в голову большой камень или даже прицелиться в меня!

И правда, писал я в эту ночь вещи невыгодные и для турок, и для римской пропаганды, которую так справедливо со своей точки

зрения должны были дорожить лихие наездники лихого пана и поэта Садык-паши.

Я наслаждался внутренним сознанием той полуоткрытой, почти ежеминутной борьбы, в которую все сильнее и сильнее вовлекались и мы среди всеобщего брожения умов; я был бы рад, если бы борьба эта приняла и здесь открытый и страшный вид войны или восстания. Самолюбие мое внушало мне, что я сумел бы выйти хорошо из тех затруднений и опасностей, которые всегда могли предстоять здесь русскому в такие дни...

Конечно, все это ощущать, всем этим наслаждаться я мог бы и в отсутствии Маши, но мне приятно было иметь близко «даму сердца», которая могла бы оценить и беседу мою «о мірах» и «загробной жизни», и голубую шубку русского покроя, и шапочку набекрень, и лошадку вороную, и доброту души (которой я тогда между прочим тоже гордился), и политический такт на службе, и какой-нибудь удар хлыста, вроде того, за который меня, наказуя для вида, перевели сюда и повысили, поручив сразу серьезный и деятельный пост.

Куст «весенней черемухи» цвел теперь уже

близко от меня, и я мог надеяться когда-нибудь, срывая цветы его, сплесть из них себе «душистый и свежий» венок победы. Какой победы? над кем? над чем победы? Я не знал и не жаждал знать. Мне было весело; мне было приятно жить тогда на свете; мне стало приятнее прежнего и гулять, и трудиться, и есть, и пить, и спать, и бодрствовать, и мыслить, и смеяться, и не только любить, — мне ненавидеть даже стало как-то слаще.

Я ненавидел, например, нового драгомана австрийского консульства: фамилия его была Бояджиев; он был болгарин-униат, отъявленный враг России и поклонник всего европейского. Серьезный, солидный, черный как цыган, с большим горбатым носом, всегда в феске и каком-то грубом сак-пальто лилового цвета, сшитом из местной «абы», для покровительства национальному рукоделию. Он воображал себя образованным и позволял себе от времени до времени судить обо всем с гордым, стойким и язвительным видом. Я ненавидел его солидность и презирал его пошлость. Мне казалось почему-то, что и он в душе презирает меня...

И вот (я сказал, что многое само собою слагалось в этот год лиризма и удачи)... и вот пришлось мне сразу в один день и почти в один час проучить надолго этого ненавистного мне человека, — и узнать кое-что о таких делах, которые могли иметь большое влияние на положение в городе мужа милой моему сердцу женщины.

Проучить глупца и врага России и остаться правым! Узнать секрет и тотчас же воспользоваться им с немедленным успехом для себя и для консульских дел — разве это не весело? разве не надо ценить такие ясные дни? Я их ценил и веселился!

XIV

Случилось все это вот как.

Дня через два, через три, может быть, после того «чреватого будущим» визита в «белый» дом, среди домов розовых и темно-красных, я увидал поутру, что на дворе туман и сырость, и мне это очень понравилось.

Я спросил себя: «куда бы мне пойти?» и решил, что лучше всего пойти к тому самому человеку, под начальством которого состоит

ненавистный мне «в принципе» униат и ученый мужик Бояджиев, — к австрийскому консулу Остеррейхеру.

Да, его фамилия была такая странная — Остеррейхер[10] хотя родом он был, напротив того, вовсе не из Австрии, а баварец, и только после целого ряда замечательных приключений поступил на службу Империи Габсбургов.

Остеррейхера я любил. Он нравился не мне одному своею удивительною оригинальностью. Хороший, благонравный семьянин лет около сорока; худой, сухой, высокий, сильный, лицом безобразный, краснокожий; взором мрачный, в иные минуты даже страшный с виду, но в сущности веселый и общительный. Вспыльчивый нередко до исступления, до дерзости, он, горячась, имел привычку щипать себя ногтями со злости за лицо так сильно, что на лбу и щеках его оставались надолго небольшие пятна. Большею частью любезный и до изысканности вежливый, пока его не раздражали. Танцор, с большими шпорами, всегда в какой-то полувоенной форме, в каких-то чуть не курточках залихватского по-

кроя; серьезно начитанный, воинственный, и в политике и лично; драчун и добрый малый; атеист и покровитель римской пропаганды в ее действиях противу нас и Православия. Родом баварец (как я сказал), австриец по службе, по духу действий на Востоке, пруссак по общегерманским сочувствиям, смолоду он был революционером, социалистом; едва не был взят с оружием в руках прусскими войсками; бежал и спасся; служил, кажется, матросом на купеческом корабле, который привез его в Царьград; здесь он жил сначала письменным трудом, сумел обратить на себя внимание интер-нунция и поступил на австрийскую службу. Жена его, смиренная, беленькая, простоватая, полная, многодетная, всегда не по моде и без вкуса одетая — была ему кузина; он ее когда-то и где-то увлек, похитил, а теперь кричал на нее даже при нас грозно: «Schlechte Kuh!», когда она ему чем-нибудь надоедала, и танцевал с нею какую-то особенно лихую польку или шотиш на консульских вечерах; бряцая шпорами, он нежно улыбался ей сначала, потом внезапно отталкивал ее от себя с грозным видом, чтоб она

танцевала особо, и, подперев руки в боки, опять умильно улыбался и снова рыцарски бряцал, наскакивал на бедную женщину, которая танцевала бы, может быть, и гораздо лучше, если бы не была так напугана им. Как было не любить такого занимательного человека?

Я бывал у Остеррейхера нередко прежде, и мы за кружкой пива иногда до поздней ночи беседовали с ним о всевозможных предметах, но любимым его разговором был разговор о развитии германской нации в отношениях политическом, экономическом, эфическом. Он кричал об этом по-французски, произнося дэ как тэ, а j и g как ша:

— Вот, вот наше призвание на Востоке: распространять в среде здешнего славянства германскую культуру. Вот наше призвание, вот оно!

И потом начинал хохотать и, хватая меня за руку, восклицал:

— О! вы молчите, вы улыбаетесь... Знаю, знаю. Я знаю, что вы, представители этой бюрократической и самодержавной нации, вы нам самые опасные соперники...

Vous êtes des compétiteurs habiles et terribles, mais terribles... Schlechte Kuh! (кричал он вдруг грозно на мадам Остеррейхер, которая после полуночи начинала обыкновенно дремать, слушая нас с работой в руках): — Ты спишь. Donnerwetter, вели подать нам еще пива!

И, проводив жену взглядом минутной ненависти, он обращался снова ко мне вежливо и спокойно, с улыбкой любезной тонкости на раскрасневшемся от пива больше обыкновенного худом и суровом лице:

— Но простите, если вам я скажу: вы делаете одну ошибку, да!

— Какую? просветите нас.

— Эта ортодоксия ваша! И вы, и ваш Богатырев люди образованные; он человек, привыкший к высшему свету, вы человек с большою начитанностью. И вы встаете рано, ходите к мессе в это Иерусалимское подворье. Ба! (он топал ногой)... Все эти здешние греки и болгары старшины, они ни в Бога, ни в дьявола не верят, так же, как и я. Богатырев читает сам Сен-Поля и Сен-Пьера в церкви. Donnerwetter!.. Поэтому и мы должны проти-

водействовать вашей препотенции на той же почве. Эти польские попы в одежде восточного клира! это не плохая выдумка. А? Qu'en dites-vous?..

— Желаю вам успеха! — говорил я смеясь...

— А! какая фраза!.. Амалия, где ты? Где пиво, чорт возьми!.. Пиво!.. Да, в настоящем вы здесь очень сильны, но будущее наше... Ха-ха! Вы не верите? Вы верите в призвание de la Sainte Russie. Ну что ж, история покажет, поборемся. Цивилизация за нас! Le développement économique, éthique et ethnique est notre force, vous ne possédez que la force politique! Амалия!.. Чорт возьми! Еще пива...

Я очень любил его патриотическое хвастовство и, нимало не сомневаясь в благоприятном для России исходе борьбы за преобладание на Балканском полуострове, забавлялся только тем, что еще более возбуждал его высказываться, и потом, конечно, передавал все Богатыреву, который тоже очень утешался его выходками и восклицал иногда: «бедный Остеррейхер!» И действительно, в то время Австрия очень мало значила во Фракии; род службы Остеррейхера был более наблюда-

тельный, чем деятельный в самом деле. В деятельную и серьезную борьбу были вовлечены четыре консульства: французское, великобританское, греческое и наше. Может быть, и в самом деле этот умный, энергический чудак выдумал выписать польских священников и одеть их по-православному в черные рясы и камилавки, но осуществить все это, устроить и поддержать денежную помощью мог только французский консул, а никак не австрийский, бедный даже и материальными средствами. Поэтому-то вся лихость Остеррейхера казалась нам больше занимательною, чем опасною, и в самой его манере говорить и хвастаться было что-то добродушное и забавное, которое нас не только не оскорбляло, но заставляло даже искать его общества.

Во время продолжительного и убийственного уныния, в каком я находился, я перестал к нему ходить. Я исполнял тогда лишь мои служебные обязанности, но беседа мне в то время нужна была иная, мне нужны были тогда стоны сердца, томления неудовлетворенного романтизма. Только такой человек, с которым бы я мог вместе томиться, изливая всю

душу мою, который мог бы оживить меня, и, понимая мою тоску, заставить меня ее забыть!.. Но этого я не встречал даже и в московском нашем Богатыреве. Мы с ним никогда не заходили далеко в откровенности, и приязнь наша была только внешнею приязнью удачно ужившихся сослуживцев. Какая же была возможность сказать австрийскому консулу (в особенности такому, каков был Остеррейхер), что я тоскую оттого, что мне не в кого влюбиться и не с кем тосковать? Он бы топнул ногой и закричал: «А! ба!.. Старый романтизм, от которого давно пора отказаться!..» Или прибавил бы, может быть, в добрую минуту:

— Vous êtes encore cheune, mon cher. La cheunesse est un téfaut dont on se caniche chaque, chour!..

Или, наконец, подумал бы или сказал бы мне с восторгом:

— C'est que romantisme chermanique! Это доказывает, как я прав, утверждая, что мы, южные немцы, должны надеяться на полное торжество германского духа в этой податливой славянской среде, на распространение и в

здешних странах des principes politiques, économiques, éthiques et ethniques, pour ainsi dire, du chéniе chermanique... Амалия, вели дать еще пива!

И к тому же, какая возможность говорить об идеальных чувствах сердца, о том, что меня терзает «жар души, истраченный в пустыне», человеку, который при мне кричит на жену свою: «Schlechte Kuh!»

Вот почему я так долго не был у Остеррейхера. Теперь, когда все силы души моей были возбуждены и утроены, я захотел и с ним повидаться и опять слышать его крик и топот вперемежку с разумною, тихою и вежливою речью.

Задумал и пошел...

XV

Я застал Остеррейхера на этот раз не за пивом и не в обществе дремлющей Амалии, а в обществе Бояджиева и за бутылкой местного красного вина.

Остеррейхер, казалось, очень мне обрадовался и начал спрашивать меня: почему я так долго у него не был? чем я теперь занима-

юсь в часы досуга? и т. п.

Я нарочно (несмотря на присутствие «интеллигентного» идола в феске и показывая вид, что «игнорирую» его), с целью слышать какой-нибудь оригинальный и резкий возглас, сказал австрийцу, если не всю правду, то почти.

— Все унывал, все скучал, — отвечал я, — а в часы Досуга читал «Чайльд-Гарольда»...

— А! прежде я угадал! parbleu! — воскликнул Остеррейхер, — Шайльд-Гарольд!.. Все старина!.. все поэзия! Ха-ха-ха!..

Но потом он на минуту призадумался и, отпив немного вина, сказал:

— Без сомнения, поэзия есть великая вещь. Но в наше время она должна служить иным интересам. Времена Байрона прошли и не вернуться. Вы имеете понятие о Кинкеле?

— О Кинкеле? Кто такое Кинкель? Ни малейшего понятия, — отвечал я с удивлением.

Остеррейхер с негодованием затопал ногами и, воздев руки к небу, яростно вскрикнул:

— Кинкель! Кинкель! Не знать Кинкеля!.. Кинкель, это был один из самых замечательных деятелей германской революции 48 года!

Он был заключен в тюрьму и посажен за ткацкий станок.

С этими словами австрийский консул вскочил и, бряцая шпорами, кинулся к дверям столовой.

— Амалия! Амалия! — закричал он пронзительно, — где мои перстни? Перстни! Пришли мне перстни мои, белый эмалевый с яхонтом и другой маленький... Амалия, где ты?..

— Я слышу, слышу, сейчас, — отвечал голос Амалии.

— И еще пришли мне ту маленькую книжку, желтую, где Кинкелевы песни... Слышишь ты или нет?..

— Сейчас, сейчас.

Бояджиев все это время молчал и с достоинством курил и пил понемногу вино.

Турок-кавасс скоро прибежал и принес перстни и книжку, в которой воспевались страдания Кинкеля за ткацким станком.

Остеррейхер радостно схватил книжку, надел перстни и начал читать мне стихи с большим чувством.

Я не помню ни одного слова, ни одной мысли из этого чтения. Едва ли я и тогда вни-

мательно слушал. Я был до того равнодушен к несчастной судьбе «великого» Кинкеля, что, вероятно, все, что и слышал, невольно тотчас же забыл. И даже теперь я пишу наобум и не совсем уверен, твердо ли я запомнил имя этого героя социальной революции. Кинкель он был или иначе звался, признаюсь, не знаю и не интересуюсь знать. Почитатель «мученика революции» занимал меня несравненно больше, чем сам мученик; а мое отвращение к безмолвному Бояджиеву все росло и становилось мало-помалу гораздо живее, чем все остальные чувства.

(Мне показалось, что он позволил себе насмешливо улыбнуться, когда я заговорил о Байроне!)

Остеррейхер прочел еще два-три стихотворения и, остановившись, спросил меня:

— Как вы это находите?

— Извините, я нахожу это очень скучным... Ваш Кинкель и все подобные ему люди не внушают мне ни малейшей симпатии. Я очень рад, что его засадили. Я не понимаю, что именно подобные люди чувствуют, и удивляюсь, как могут такие утилитарные

мечтатели вдохновить истинного поэта!.. Вот несчастная судьба вашего же Бенедека меня трогает. Я люблю ваших молодцов в белых мундирах, и хотя вы нам соперники в политике, как вы сами говорили мне не раз, но какое-то живое чувство заставляет меня всегда жалеть, когда их побеждают или убивают. Еще прусский юнкертурм может мне внушать то же сочувствие; все эти Штейнмецы и Мантейфели напоминают мне мое детство и русских генералов хорошего старого стиля... Слышится что-то содержательное, крепкое, глубокое, не до дна еще исчерпанное, но я ведь не понимаю штатских, бунтующих с утилитарною целью.

Остеррейхер слушал с большим вниманием; он был, видимо, тронут и, покачав головой, ответил задумчиво и кротко:

— Ché vous comprends! Ché vous comprends... (Я вас понимаю, я вас понимаю!) Это в своем роде ясно и последовательно...

Бояджиев в эту минуту разверз уста:

— Сочувствие милитаризму и аристократии очень понятно в русских, которые так недавно принуждены были отказаться от раб-

ства, — сказал он.

Я вспыхнул, но на первый раз ограничился только тем, что спросил его тихо:

— Вы так думаете?

— Да, — отвечал Бояджиев, — таково мое убеждение!

Остеррейхер насупил брови; он был недоволен этою выходкой своего переводчика и, слегка притопнув, сказал ему, впрочем, более уговаривающим, чем сердитым тоном:

— Милитаризм, аристократизм! Надо эти понятия отличать... Англия, например, страна аристократии, но милитаризма в ней нет; Франция — напротив.

Но Бояджиев настаивал:

— Это так, г. консул, но я говорю о России. К ней применимы оба термина. Привилегированное дворянство и военный деспотизм Императора.

— Не совсем так, — возразил я уже с большим раздражением. — Привилегий у дворянства уже нет, а тот деспотизм, который вам так не нравится, судя по вашему тону, теперь, я нахожу, недостаточно строг ко всякой сволочи, воображающей себя вправе рассуждать

оттого, что она, эта сволочь (cette canaille), кой-чему обучилась. И у нас в России развелось, к несчастью, много рассуждающей и пишущей дряни.

Бояджиев снисходительно улыбнулся и заметил совершенно спокойно:

— Я не думаю, чтобы в России очень много писали! Чтобы литература была развита, необходимы многочисленные читатели, а в России их не может быть много. Русские, это всем известно, почти так же необразованны, как и наши болгары.

Эта последняя дерзость, высказанная решительно и твердо гадким славянином, никогда даже в России не бывавшим, до того поразила меня, что я внезапно впал, не знаю, как и выразить, во что — скорее всего, в тихое и в своем роде непоколебимое спокойствие отчаяния и, обратясь к Бояджиеву, сказал:

— Вот видите, г. Бояджиев, выслушайте меня внимательно, — это вам будет полезно. Когда рассуждает о России, даже и не зная ее хорошо, такой, например, человек, как г. Остеррейхер, это еще не беда. С ним я могу спорить: он сын действительно великой германской

цивилизации, которой и мы, русские, очень многим обязаны. Но вы? Ваши какие права? Вы даже не понимаете, что вежливо и что нет... Русскому, конечно, нет обиды в том, что вы ничего не понимаете — и вы можете без нас обнаруживать сколько угодно вашу плачевную образованность, но пока я здесь, я прошу вас в разговор не мешаться и со мной не говорить вообще ничего и никогда. Слышали?

Бояджиев покраснел и не сказал на это ни слова. Я думал, что он по крайней мере уйдет, но он остался, продолжая молча пить и курить.

Остеррейхер был несколько смущен. Он что-то чертил пальцами по столу и принужденно улыбался.

Вероятно, он был обуреваем разными противоположными чувствами: желанием заступиться за драгомана, который как униат был ему очень нужен по делам пропаганды; восхищением по поводу того, что я признал так торжественно его собственные великие культурные права; досадой на то, что я так смело позволяю себе командовать у него в доме; со-

чувствием своему брату консульскому чиновнику, умеющему обрывать «этих банабаков». Donnerwetter!.. Это иногда необходимо для консульского престижа (pour conserver le prestige des achents consulaires). Чорт возьми! Поколебавшись с минуту, он, однако, поспешил переменить разговор.

— Так вы скучаете здесь, — сказал он мне с участием.

— Я не говорю, что я скучаю всегда. Теперь мне опять весело; но было время уныния.

— Это от недостатка общества.

— На что мне это общество! — возразил я с досадой. — Вы ошибаетесь. Все зависит от нашего внутреннего чувства.

— Нет, нет, — настаивал Остеррейхер, — это недостаток общества. Нет театров, нет балов, литературных чтений.

Я хотел еще раз протестовать, но Остеррейхер возвысил голос, чтобы перекричать меня, и продолжал:

— Да, теперь стало в Адрианополе скучнее, но года два тому назад было очень весело. Тут были и некоторые условия местной политики, которые благоприятствовали обществен-

ному оживлению. Генерал-губернатор был знаменитый Ахмед-Киритли. Вы знаете, это настоящий grand-seigneur. Он сам был не раз великим визирем и послом при европейских Дворах. Он был послом при коронации вашего Императора в Москве, имеет ленту Св. Анны, образован, умен, у него множество энергии и вместе с тем он скорее принадлежит к старотурецкой партии по убеждениям, чем к партии Мидхад-паши, который теперь в Русуке. Перед приходом Богатырева все было в разладе, господствовал один Виллартон, потому что он пресмыкался (Остеррейхер с пренебрежением пожал плечами и топнул ногой; он не любил английского вице-консула) перед Кирит-ли-пашой. С предместником Богатырева, Шамшиным, Киритли был на ножах за переселение болгар в Россию; с французским консулом еще хуже, за то, что велел схватить по подозрению французского кавасса-албанца на улице, — по подозрению в укрывательстве одного из тех арнаутов-разбойников, которые на Филиппопольской дороге убили американского миссионера. А, Боже мой, что тут было! телеграммы к Туверне-

лю, телеграммы от Тувенеля сюда. Последняя от Тувенеля была такая: «Пошлите секретаря вашего сказать Ахмед-Киритли-паше, что его поступок недобросовестен и что он будет иметь дело со мной самим, если не освободит сейчас же кавасса!..» А! какво это было вынести Ахмед-Киритли?.. Конечно, все это посеяло холодность и раздражение, и местная власть всегда может найти тысячу случаев «класть палки в колеса» тем консулам, которые ей досадили. Мы были трое — Шамшин, французский консул Мульяр и я — почти всегда заодно, но этот дьявол Виллартон помогал всячески паше парализовать наши усилия; когда же приехали почти в одно и то же время Богатырев и де-Шервиль, тогда все переменялось в общественной нашей жизни... Богатырев сумел расположить к себе пашу и сблизился с Виллартоном...

Тут Остеррейхер приостановился и, чуть-чуть улыбнувшись, спросил:

— Вы видели мадам Виллартон?

— Да, я познакомился с нею всего дней за пять до ее отъезда в Вену.

— Это женщина довольно умная... доволь-

но умная, да! — продолжал австриец. — Она больше дипломат, чем ее муж!.. Богатырев стал чаще и чаще бывать у них. Они у него. Начались вечера, балы, пикники, театры. Киритли-паша принимал во всем участие... Мы веселились тогда. Однажды в вашем консульстве, после ужина, когда паша уехал, мы даже затеяли драку... Тогда только что кончились шлезвиг-голландские дела, и Виллартон любил дразнить меня, как немца, геройством датчан. Он предложил представить в лицах Шлезвиг-Голландскую войну. Вообразите, он влез в зале у Богатырева на угловой диван, схватил подушку и кричал: «Я Дания, я Дания!.. Кто со мной против немцев?..» Де-Шервиль схватывает другую подушку и тоже прыгает на диван и кричит: «Я против немцев». Богатырев со мною; он изображал Пруссию.. Мадам де-Шервиль испугалась и спряталась за молодого человека, за Джемса, вы знаете его. Она говорила потом, что никогда не видала, чтобы такие взрослые, серьезные мужчины дрались и кидались подушками... Это был штурм... Parbleu! настоящий штурм... Я повалил Виллартона, сам упал.. Жаль, что вы не

знаете мадам Виллартон, — это интересная женщина...

Я ждал еще новых занимательных подробностей, тем более, что Остеррейхер выпил много вина, но нас прервали.

Вошел кавасс и почтительно остановился у дверей.

Остеррейхер опять нахмурился.

— Что такое? что тебе нужно? — спросил он тихо и Сурово.

— Один суддит[11] пришел, наш суддит.

— Который?

— Азариан, армянин.

Остеррейхер произнес вполголоса, сдерживая гнев свой, несколько самых непристойных турецких ругательных слов: «Керата! пезевенг!» и потом прибавил громко и спокойно: — Зови!

Азариан вошел. Он был одет по-восточному, в феске, в длинной шубе на легком меху, с широкими рукавами, как у монашеской рясы, и в полосатом халате снизу, подпоясанном кушаком.

— Садись, — сказал ему консул по-турецки довольно скромно и кротко. (Вероятно, он

вспомнил в эту минуту или об эфическом принципе германского гения, или об экономическом строе местной жизни, так как Азариан был богат и мог поэтому пригодиться.)

Азариан сел почтительно на край дивана и уже сидя раскланялся со всеми нами по-турецки.

Консул вежливо, и даже с маленькою улыбкой, ответил ему; но я чувствовал, что он волнуется, и, зная его, ожидал грозы.

Азариан глядел на всех нас и лукаво, и весело, и глупо, ожидая вопроса.

— Э, что нового? — спросил Остеррейхер все еще вежливо.

— Гюзельлик[12]! — равнодушно произнес армянин. Долг восточных приличий требовал, чтоб он не начинал прямо с изложения своего дела, а вел бы сначала с господином консулом приятные общие разговоры о здоровье, погоде, о взаимной дружбе и т. д.

Но это слово «гюзельлик» было искрой, воспламенившею австрийский порох. Остеррейхер затопал, зазвенел шпорами, застучал кулаком по столу, закричал как бешеный:

— Гюзельлик! а! гюзельлик! мне нет вре-

мени твоими гюзельликами заниматься! Говори дело, начинай прямо с дела... что у тебя там?.. Гюзельлик! гюзельлик! — повторил он с ненавистью.

Азариан, вероятно, уже привычный к таким вспышкам, не особенно испугался, но, смиренно и спокойно склонив голову, даже улыбнулся и сказал:

— Ну хорошо, хорошо. Начнем с дела. Остеррейхер утих и слушал. Дело было несложное: о недоплате денег другим армянином, турецким подданным, за проданного ему Азарианом буйвола, который у нового хозяина тотчас же издох.

Остеррейхер велел Бояджиеву пойти с Азарианом в канцелярию и записать для памяти имя противника и сущность дела и прибавил ласково:

— Бояджиев, *mon cher*, вы займитесь там, а мы пока побеседуем с мсье Ладневым.

Оставшись со мною наедине, Остеррейхер почти тотчас же заговорил об Антониади и Виллартоне.

Как только Бояджиев исчез за дверями вместе с Азарианом, мне захотелось поскорее и вполне увериться, что Остеррейхер не сердится на меня, и я сказал ему:

— Мне, право, очень жаль, что я был вынужден дать вашему драгоману такое строгое наставление. Я считаю себя правым, но мне неприятно, что это случилось у вас в доме и при вас. Впрочем, уверяю вас, что мое искреннее уважение к вам заставило меня придать всему этому более мягкую форму. В другом месте я позволил бы себе большее.

Остеррейхер принужденно улыбнулся и отвечал:

— Да, он немножко груб и не знает, что можно сказать и чего нельзя.

Потом он дружески подлил мне еще вина и продолжал:

— Эти драгоманы — большое затруднение. Я в одном завидую вам, русским, что вам так давно служит такой несравненный человек, как Михалаки Канкелларио. Это сокровище. И с каким удовольствием отнял бы я его у вас! Но я знаю, что это невозможно. Он не расстанется с русским консульством.

Остеррейхер был прав; положение нашего драгомана было совсем не похоже на положение других драгоманов в городе. Михаил Канкелларио, даже и не служа при русском консульстве, по состоянию своему, по необычайно тонкому уму и по некоторой образованности своей имел бы видное место в городе. У него был в Кастро хороший дом (мне нравилось то, что он был ярко-синего цвета); была прекрасная дача в подгородном селе Карагаче, с садом, беседками, обвитыми душистым жасмином, с небольшим фонтаном; были свои лошади; торговал он счастливо разным мелким и грубым товаром, стеклянную посудой, гвоздями, замками, железными печами, дешевыми коврами европейской подделки. Безвозмездная служба при русском консульстве в соединении с его независимыми средствами, при способностях и такте, удваивала его силу и значение в среде христиан Адрианополя. В консульских домах он был бы принят и не служа, как «архонт» или «примат», как один из представителей местной плутократии. Консульские жены платили визиты его старой и болезненной жене, которая ходи-

ла в коротких платьях и повязывалась платочками. Михалаки бывал по торговым делам в Париже и в Вене, и практическое знание французского языка еще больше облегчало ему сношения запросто с консулами. Совсем иначе были поставлены в обществе драгомань других консульств. Драгоман французского консульства был в то время поляк Менжинский, энергический фанатик польского дела, галицийский эмигрант, бедный, бездомный скиталец, враг русских до такой явной степени, до такой личной дерзости, что Богатырев вынужден был официально отказать ему от входа в консульство даже и по делам, встречаясь, не говорил и не кланялся с ним и мне приказывал поступать так же. Французские консула протестовали, выставляя на вид официальное значение Менжинского, но тщетно. Богатырев не уступал. Бояджиева я уж описал; он тоже сам по себе, без австрийского драгоманата, мало бы значил в обществе. Бедный болгарин, народный учитель из дальнего и глухого города, перешедший из политических видов и корысти в униатство — что мог он значить в обществе, если

бы не служил у Остеррейхера? При этом, как видно было всякому сразу, грубый, невежливый, напыщенный кой-каким знанием языков и воображаемую ученостью. Его консула принимали только по делам и в торжественные дни царских именин и королевских рождений. Визитов ему не платили. Богатырев руку подавал ему, но всегда сурово и стараясь даже не глядеть на него. У Виллартона по мелким делам в Порте и в других консульствах хлопотал скромный, небогатый, робкий, низенький, невзрачный и умом ограниченный грек Сотираки. Он имел небольшой домик в дальнем предместьи Ильдирим; в общество консульское и высшее торговое сам втираться не старался, на него тоже мало обращали внимание, но скорее по какому-то забвению, чем по недоброжелательству. Я сказал, что он был человек скромный и почтительный; у Виллартона при почетных гостях он сидел на кончике стула, в углу, и очень скоро куда-то скрывался. Словом, если применить приблизительно впечатление, которое производили все эти четыре драгомана, к оттенкам нашей русской провинциальной жиз-

ни, то выйдет так, что в приемной Богатырева, Виллартона и де-Шервиля (весьма благовоспитанного человека) Сотираки производил впечатление скромного и дельного управляющего именем; Менжинский — отставного майора, бедного, но гордого и сердитого, с которым многие боятся сблизиться, чтоб он не прибил или не вызвал на дуэль; Бояджиев был похож на твердого и ничего (даже и вежливости) не признающего нигилиста, который, обедая случайно с дворянами, думает о том, как бы хорошо было их всех перевешать или зарыть живыми в землю, орошенную потом и слезами «меньшей братии». И только один наш Михалаки напоминал не совсем благообразного, вовсе не изящного, но все-таки равноправного с богатыми и светскими хозяевами дома соседа-землевладельца. Немного *mauvais genre*, немного подлец, очень скверно одет, но чрезвычайно умен, всякому очень нужен по положению своему и умеет держать себя в обществе независимо и почтительно.

Понятно поэтому, что австрийский консул был прав, сокрушаясь о том, что у него нет та-

кого Михалаки (вдобавок около двадцати лет служащего бесплатно верой и правдой только из идеи и самолюбия).

— Да! — продолжал австрийский консул. — Бояджиев мне необходимый человек, и я очень им дорожу. Но мне бы хотелось иметь еще другого, собственно почетного драгомана «ad honores», для представительства в Порте и для общественных сношений. Бояджиев — райя, это его иногда стесняет, и кроме того, *se n'est pas un homme du monde!* Я обратил недавно внимание на одного человека. Но Виллартон предлагает ему то же самое. Я вчера узнал это из самого верного источника. Вы угадываете?

Остеррейхер сделал плутовское лицо. Я догадался, смутился до чрезвычайности, сам не знаю почему, и поспешил ответить, как бы недоумевая:

— Нет, право, не могу догадаться!.. Не могу!

— Ба! это так легко! Конечно, я говорю об этом хиосском купце, об Антониади. Он человек богатый и представительный; я доверяю вам эти планы по личной приязни, и еще потому, что он, кажется, вам давно знаком. Же-

на его русская. Быть может, вы поддержите меня и даже возьмете на себя труд узнать мысли Антониади. На чью сторону он склоняется, на сторону Виллартона или на мою? Берегитесь, Виллартон большой интриган. Вам Антониади не нужен, у вас есть Михалаки.

Что мне было ответить на такую речь? Я ответил так:

— Я очень рад вам сделать услугу, но вы знаете, что я не могу себе позволить никакого подобного шага без разрешения г. Богатырева. Хотя я уверен, конечно, что и он не меньше моего будет рад быть вам полезным. Он очень любит и уважает вас.

— О! Богатырев прекрасный коллега! — с восторгом воскликнул Остеррейхер. — Это истинный джентльмен! Я всегда говорю, что именно для дипломатии необходимо сохранить аристократический оттенок воспитания. Есть нечто неуловимое у людей такого типа! Однако согласитесь, что этот элемент рыцарской власти, известный оттенок привычной препотенции внесен первоначально в европейскую жизнь все тем же германским завоевательным и устрояющим гением

(touchours par ce chénié chermanique conquérant et organisateur)! Однако оставим это и обратимся к Антониади. Если можно будет вам взять на себя это дело, прошу вас внушить Антониади, что я для каких-нибудь коммерческих тяжб отрывать его от личных дел не буду. Цель моя, повторяю, только одно представительство в Порте и в консульствах. Бояджиев не умеет держать себя ни в конаке, ни в обществе консулов.

— Все это так, — отвечал я, — но услуга за услугу. Вы говорите, что узнали именно о таких видах Виллартона на Антониади из самого верного источника. Мне приятно было бы знать — от кого? Доверьтесь мне.

Австрийский консул засмеялся.

— От самого Виллартона, конечно. Вы знаете, когда он поставит пред собой маленький турецкий столик, начнет подливать воду в раки, вы знаете, после этого он... говорит...

— Да, это бывает с ним, — сказал я, радуясь такому положительному сведению.

Я обещал австрийскому консулу мое содействие в пределах возможности; он горячо поблагодарил меня, и я собрался идти. — Я спе-

шил к Богатыреву, чтоб отдать ему во всем этом отчет и вместе с тем чтобы поскорее узнать, что придумал Михалаки сделать с нашей стороны, все для той же цели — для привлечения «хиосского купца».

Остеррейхер проводил меня до самого крыльца со множеством лестных дружеских слов и добрых пожеланий, а в заключение всего сказал:

— Нет, послушайте меня, оставьте ваше уныние. *Vous êtes cheune, goruste, choli garçon. Choisissez!* Заходите по-прежнему вечером, мы опять займемся за кружкой пива вопросами высшей цивилизации. Помните, как мы с вами хорошо спорили чуть не до рассвета, а жена моя дремала и меня это бесило?

Все это Остеррейхер сказал так весело и мило, как будто он находил, что так и надо, что кричать при мне на Амалию «*Schechte Kuh!*» есть одно из необходимых и наилучших проявлений культурной германской эфики.

Распростившись с ним, я немедленно пошел к Богатыреву и застал его с Михалаки за завтраком. Они оба очень мне обрадовались,

и Богатырев воскликнул:

— Вот, вот, посоветуйте! разрешите один очень трудный вопрос! Иван, подай поскорее прибор.

Я сел и приготовился отвечать на этот трудный вопрос.

XVII

Важный вопрос был вот в чем: Богатырев хотел дать обед по случаю учреждения вилайета во Фракии и в честь приезда обоих новых пашей, Вали-Хамида и Каймакама-паши-Ариффа. Надо было все решить и кончить скорее, чтобы кто-нибудь из других консулов не предупредил нас.

Богатырев так увлекся этою затеей, что, не кончив еще завтрака, спросил лист бумаги и тут же стал карандашом чертить нечто вроде плана обеденного стола, чтоб яснее было, где кого рассадить по чинам и по правам дипломатического старшинства.

Он начертил длинный четырехугольник; на одном конце написал: Вали-паша, на другом: le Cons(ul) de Russie. Потом стал ставить крестики и начальные буквы: le C. d. F. (фран-

цузский консул), М. Л. (господин Ладнев) и т. д. Число персон выходило нечетное, девять человек, считая с Михалаки Канкелларио... Между мною и Каймакам-пашой некого было посадить... Выходило с одной стороны стола пусто и некрасиво.

Богатырев был очень этим недоволен...

— Посоветуйте, как же быть? — сказал он мне.

— Пригласите нового австрийского драгомана и посадите его *vis-à-vis* с *monsieur* Михалаки, — отвечал я с улыбкой.

Михалаки вспыхнул, и глаза его засверкали.

— Как? — воскликнул он, — Бояджиева? униата! Этого босоногого негодяя!.. В таком случае я прошу г. Богатырева лишить меня чести обедать в таком высоком обществе... Мне легче отказаться.

В негодовании Михалаки готов был, кажется, и сейчас даже выйти из-за стола. Его обычная сдержанность и почтительность пред нами, представителями русской власти, которую он почти страстно любил, не могли устоять против такого оскорбления... Одного

«плутократического» чувства его было бы достаточно, чтобы возмутиться таким предложением. «Этот босоногий негодяй» станет на одну с ним доску!

— Пойдите, monsieur Ладнев, верно, шутит, — сказал Богатырев. — Сам Хамид-паша оскорбился бы, если б учителя и райя Бояджиева посадили с ним за один стол...

— Я не Бояджиева имел в виду, а другого почетного драгомана, Антониади, — отвечал я и поспешил успокоить Михалаки, рассказав обо всем том, что случилось сегодня в австрийском консульстве.

Слушатели мои были очень довольны. Михалаки негодовал на Бояджиева и с любовью глядел на меня, когда я рассказывал о том, как я проучил грубого униата.

— *Quel animal, quel animal!* — повторял он, качая головой. — Отзываться так о великой России, о святой России!.. Кюпек-оглы (собачий сын)! — прибавил он еще по-турецки.

Богатырев тоже одобрил мое поведение.

— Это вы отлично сделали, что этому болвану нотацию прочли, — сказал он. — И счастливо сошло вам это с рук! Остеррейхер

верно к вам за вашу «философию» очень благоволит, а то бы другому он показал дверь или бы еще что-нибудь хуже... Ну, а что ж мы будем делать теперь с Антониади? Как вы скажете, господа? Где нам выгоднее его видеть — в английском консульстве или в австрийском?

— Он не пойдет служить в австрийское консульство, — сказал Михалаки.

— Отчего?

— Греки вообще австрийцам служить не любят. Есть какой-то на это инстинкт! — заметил адрианопольский политик. — Это очень глубоко. Я не могу даже объяснить это, — прибавил он скромно, как бы кокетничая и желая вызвать на дальнейшие рассуждения.

— Нет! — сказал весело Богатырев. — Пожалуста, объясните... Для нас сделайте это, monsieur Михалаки. Вот вам для подкрепления еще немножко.

И он налил ему еще вина.

Михалаки, приняв тогда снова тот твердый и вместе с тем ядовито-проницательный вид, который был ему обыкновенно свой-

ствен, пристально глядя то на консула, то на меня, начал так:

— *Pu a quelque chose!*.. В интересах и преданиях греков есть нечто такое, что больше их располагает служить России и Англии, чем католическим державам. Относительно Англии и Австрии я скажу, что тут, быть может, сохраняется чувство еще со времен Меттерниха и Каннинга. Но, кроме того, вообще следует заметить, что славяне гораздо легче, чем греки, располагаются искренно к державам католическим, и это очень естественно: у греков нет ни в Австрии, ни в Польше миллионов католических братьев. Греки одни на свете; их четыре миллиона с небольшим, и вся сила их в православных преданиях, а не в племени. Россия и греки — вот столпы Православия. А славяне могут измениться. Интересы и России, и греков требуют прежде всего, чтобы Православие было крепко, а у славян могут быть и другие наклонности.

— Так что же Англия? — спросил я, хотя и сам почти предугадывал ответ Михалаки.

— Англия, — сказал он, — может вредить грекам только поверхностно. Она может что-

нибудь отнять, присоединить; но она не может развратить ни греков, ни славян так, как могут развратить их католические державы. Религия при англичанах, так же как и при турках, не в опасности. Вы знаете, что греки Ионических островов религиознее, чем греки свободной Эллады.

— Поэтому — Антониади?.. — подсказал Богатырев.

— ...не пойдет в драгоманы к австрийскому консулу, а к Виллартону, может быть, согласится.

— Но я вас спрашиваю, что выгоднее нам, нам? — еще раз спросил Богатырев.

Михалаки помолчал с минуту и потом сказал:

— Вы знаете, турки говорят дели-базар, бок-базар[13]! Пусть Антониади служит у Виллартона; нам будет лучше.

Богатырев засмеялся от удовольствия.

— Вы думаете, — спросил он, — что так как Виллартон дели и слишком обнаруживает свою игру, то Антониади будет все знать и будет передавать нам?

— Зачем нам! — скромно съезжившись, воз-

разил Михалаки. — Это слишком прямо, и Антониади, кажется, не такой человек. Ему это покажется низким... что-то вроде шпиона. Но я найду другие пути. Есть косвенные сношения, есть разные пути!

При этом Михалаки делал такие убедительные и извилистые жесты руками, что было ясно, — он знает эти пути.

— Однако, — заметил Богатырев, — прежде всего не надо забывать, что Антониади желает пользоваться русскою протекцией. Он ведь сам заявил мне. Хорошо ли это будет, если мы его предоставим Виллартону вполне?

— Зачем вполне! Для Антониади выгодно иметь защиту и протекцию в турецких судах с разных сторон. В иных случаях ему пригодятся привилегии, которые ему даст английский драгоманат, а в других — наша помощь.

— Если б у него была здесь собственность, — прервал Богатырев, — то ведь жена его русская подданная, и он мог бы все записать каким-нибудь образом на ее имя... да и это очень сложно. Но ведь у него все дела будут в коммерческом суде, и какой способ придумать, чтобы в случае нужды нам защищать

его интересы — я и не знаю...

Михалаки опять принял смиренный вид. Хитрое лицо его выражало в эту минуту спокойную, почти до равнодушия доходящую уверенность подчиненного в том, что начальник (и еще какой начальник... Богатырев!) знает и понимает все лучше его.

Богатырев прибег к своему моноклю и, рассмотрев хорошо это выражение лукавого грёка, засмеялся.

— Ne faites donc pas l'innocent, mon cher monsieur Mikhalaki!.. Мы ждем всего от вашей изобретательности. Вы сами давно догадались.

— Что сделать? я не знаю, — отвечал Михалаки задумчиво. — Я желал, чтоб он и у нас служил, и у Виллартона. Мне так больше нравится. Я целый день вчера об этом думал. Нельзя ли сделать Антониади одним из членов тиджарета от русского консульства. Наш банкир Москов-Самуил все стареет и мало приносит пользы. Только мне жаль старика обидеть. Хотя и жид, но он такой добрый и невинный!

— О! это ничего! — воскликнул с радостью

Богатырев. — Мы найдем, чем утешить Самуила. Можно его будет сделать вторым после вас почетным драгоманом и брать иногда с собой в Порту для виду. Это доставит ему прекрасный случай надеть свою рысью шубку, повязать феску хорошим шелковым платком, сидеть пред генерал-губернатором и разговаривать с ним! Он будет счастлив этим... Вы начните с этого поскорей, monsieur Михалаки, предложите ему быть вашим помощником. А насчет Антониади мы тоже постараемся. Отлично! — И, обратясь ко мне, консул еще раз спросил: — Владимир Александрович, не правда ли, отлично?

— Очень хорошо, — сказал я.

— А не позволите ли вы мне, — спросил Михалаки вкрадчиво, — подать бедному Самуилу надежду на золотую медаль на ленте Св. Анны? Так, от себя, только надежду. Он так долго и усердно служил консульству банкиром и членом тиджарета[14]. Это расположит к нам всю здешнюю еврейскую общину, евреи скажут: «Вот служи англичанам; что за корысть! У них и орденов вовсе нет. То ли дело Россия!»

— Очень рад! очень рад! — воскликнул Богатырев. — Подайте ему эту надежду не только от себя, но и прямо от меня. Я выхлопочу ему это непременно. Итак, дело решено, по крайней мере в принципе... А об обеде мы и забыли. Я тороплюсь, боюсь, чтобы Виллартон... Кого же нам посадить, я все-таки не знаю. Если бы к тому дню даже и был назначен Антониади английским драгоманом, то я не вижу никакого основания делать Виллартону такую особую честь: приглашать только его драгомана. Какие основания? И что за прецедент для будущего? Вы, *monsieur* Михалаки, другое дело, вы наш, вы почти принадлежите к хозяевам консульства; и к тому же я хочу, чтоб и сами паши видели, как мы вас ценим. Но чужой драгоман?.. Подумайте и об этом, прошу вас.

Михалаки уже стоял в эту минуту с фуражкой в руке; он спешил в Порту и должен был еще зайти к Самуилу. Слыша такие речи от гордого консула, он не совладал с собою и, покраснев от блаженства, как молодая девушка, слабым голосом прошептал: «*Je vous remercie, monsieur le consul!*» и поспешно ушел, приго-

варивая: «Поищу, поищу и для обеда кого посадить...»

Богатырев, проводив его глазами, глухо и тихо сказал: «Рад-то как!» и потом, обратясь уже прямо ко мне, начал, весело и плутовски смеясь:

— Теперь я вас обрадую.

— Как?

— Да уж обрадую, — продолжал мой молодой начальник все так же лукаво и добродушно. — Уж все пуцу в ход. Мне нужно, чтобы христиане здешние не воображали, что мы нуждаемся в содействии и дружбе английского консула. Идите-ка вы, батюшка, знаете куда? Идите к Марье Спиридоновне. Да! к самой к Марье Спиридоновне... А! как вы обрадовались! Да, вы влюблены. Это ясно. Вы влюблены. Вы больше обрадовались, чем Михалаки моим комплиментам...

— Перестаньте, — сказал я, конфузясь невольно. — Прошу вас... ну рад, ну влюблен, что вам до этого!..

— Да ничего, ничего. Я сочувствую вам. Дело житейское. Так вы идите скорее. Сейчас. Муж небось в конторе теперь, считает деньги.

А вы к ней. Начните по-здешнему изда- ка... «La pluralité des mondes»... например, «l'immensité de l'espace; l'amitié; l'amour avant tout, le devoir conjugal après...» А потом и поручите ей все узнать, чего муж хочет. Скажите прямо, что Остеррейхер просил вас действовать в его пользу, но что вы не знаете, как это, и зачем, и что с политической точки зрения консульству все равно, понимаете?.. Это главное — все равно... Вот оттенок. Поговорите от меня и от себя о тиджарете и о Виллартоне узнайте... Я не совсем в этом отношении с Михалаки согласен. Все было бы лучше и проще, если б Антониади был подальше от Виллартона и зависел бы в делах только от нас.

И приостановившись, Богатырев прибавил опять шуточно:

— Ведь и для ваших будущих благ было бы лучше, если б Антониади зависел только от вас, в случае моего отъезда?

Этот новый оттенок шутки мне не понравился, и я ответил Богатыреву серьезно:

— Послушайте, мне ваши шутки вообще нравятся. Вы не Блуменфельд, я знаю... У него

самое простое слово дышит злостью, раздражением и обидой. Я понимаю, что у вас совсем другой оттенок. Но еще раз я вас прошу, умоляю даже, шутите надо мной сколько вам угодно, — над моим чувством, что я влюблен, что я страдаю, все, что вы хотите; но не придавайте, ради Бога, никакого грязного характера вашим речам об этой женщине... Какое она зло вам сделала? И если я хочу уважать ее, почему же вам не щадить моего чувства? К чему эта мысль о какой-то чиновничьей эксплуатации, о начальстве над мужем... Какая гадкая мысль!

Богатырев сильно нахмурился и очень грубым голосом сказал:

— Вас не разберешь. Вы сами защитник женской свободы в любви. — Поклонник Жорж Санда. А тут обижаетесь за одно слово! Я буду вперед...

И, не кончив с досады фразы, он все с рассерженным лицом встал и пошел к дверям канцелярии.

Я взял шапку с окна и собрался идти, но консул, остановившись в дверях, оборотился ко мне и заметил холодно и строго:

— Вы, впрочем, там не слишком распространяйтесь. Я хочу знать скорее о результате. И еще предупреждаю вас, что завтра курьер: у меня четыре большие донесения, и я сам не намерен сегодня переписывать. У вас работы будет на целый вечер, тем более, что вы скоро и красиво писать на можете.

— Потрудитесь прислать мне на дом. Все будет готово, — отвечал я так же сухо и холодно.

Мы расстались, и я, раздосадованный и смущенный, пошел к Антониади.

Погода становилась все хуже и хуже. Утренний туман, в котором была своя поэзия, рассеялся; теперь шел мелкий и частый дождик, напоминавший мне Петербург (я ненавидел все то, что мне напоминало эту язву России). Грубая адрианопольская мостовая была покрыта слоем липкой грязи, по которой бродили худые и покрытые сыпью бесприютные собаки базара.

— Что за низость эти выходки (думал я в величайшей досаде). «Дела мужа будут в ваших руках!» Ведь если бы послу или министру нравилась какая-нибудь женщина, он не

позволил бы себе так шутить. Отчего же бы я в этом случае не сделал различия между чувством министра и моего собственного слуги? Мне было бы стыдно. Или я лучше многих создан? Или я больше их понимаю?.. Но чего тут не понять Богатыреву? Он не Михалаки какой-нибудь здешний. Это отвратительно! И эта детская какая-то месть чиновника: «переписывай же сегодня все донесения до поздней ночи за то, что ты от начальства не выносишь каких попало шуток». И неужели он и этого не стыдится?.. Не понимаю! не понимаю!

В таких неприятных размышлениях провёл я всю дорогу от консульства до дверей белого дома в Кастро.

XVIII

Стучал я долго железным кольцом в дверь и с ужасом думал: «И вдруг ее дома нет!» И в ту же минуту я вспомнил почти с отчаянием, что это именно свидание было бы первым нашим свиданием с глазу на глаз. В первый раз мы были бы с ней одни, и не на улице, а в доме. Ни мужа, ни Богатырева, ни посольских

товарищей, как было в Константинополе на завтраке.

Я был так осторожен, так терпелив (быть может, и вопреки моей природе), так берег ее репутацию (например, при встрече нашей на улице)! Теперь моя совесть оправдана даже поручением по службе. Все было бы так хорошо! А эту дверь не отпирают, и ее, быть может, нет дома!

Наконец послышались шаги, и эта дверь отворилась.

Предо мной предстала смуглая Елена, гречанка с острова Чериго, верная и давнишняя горничная Маши.

— Пожалуйте, пожалуйста, — приветливо сказала она. Она как будто рада была меня видеть.

Печаль моя тотчас же облегчилась, и я пошел наверх. Елена шла за мной и говорила мне:

— Вы нас извините, что мы опоздали отворить вам дверь. — У нас все вверх дном.

— Отчего?

— Маленькая наша Акриви вчера приехала с учительницей своей из Константинопо-

ля. Привезли много вещей... Мы все теперь приводим в порядок, и госпожа Мария наша не хотела никого принимать, но когда увидела вас из окна, сказала: «Беги, беги, Елена, скажи, что прошу его. Как я рада, что он пришел». Очень она любит русских!

Так говорила добрая Елена, не зная, до чего ее слова для меня радостны. В зале я увидел и ее, и дочь, и гувернантку, ту самую белую с красным Кизляр-Агаси Игнатович, которую я встретил на завтраке у Т. полтора года тому назад. Акриви выросла; Кизляр-Агаси была все та же.

В зале, правда, был в эту минуту большой беспорядок. На полу было много сена, валялись доски от больших ящиков; столы были загромождены посудой, и стояло много парно связанных вниз и вверх ногами стульев, тщательно обернутых бумагой.

Маша радостно встретила меня, крепко пожала мне руку и сказала:

— Ах, как я рада вас видеть! как вы давно у нас не были, что с вами?

Я не знал, что ответить на это (она должна же была понимать, что я не был давно имен-

но потому, что слишком сильно желал быть ежеминутно с нею!)

— Акриви! — продолжала Маша, — ты помнишь monsieur Ладнева? Здравойся же с ним скорее!

— Нет! не помню, — отвечала девочка с недоумением, приседая.

С г-жой Игнатович мы поздоровались, как старые знакомые, и вот как меняется человек! Эта сентиментальная, неприятно увядшая женщина с красными губами и красными веками, которая в Царьграде тогда показалась мне ужасною, здесь произвела на меня совсем другое впечатление; то есть не она сама, не лицо ее, не вся ее особа, а только присутствие ее здесь показалось мне благоприятным. По какому-то тайному, сердечному инстинкту, по какому-то невыразимому сразу физиологическому соображению я предугадал в ней будущую усердную мне потворщицу и дружески пожал ей руку, говоря:

— Вот неожиданная и приятная встреча!

Легкий румянец удовольствия покрыл щеки г-жи Игнатович, и жалкое лицо ее выразило такое смущение, что сердце мое сжалось

внезапно от сострадания. Если встретить ее я не ожидал, то еще менее ожидал чувствовать все то, что я почувствовал в эту минуту. Не прав ли я был, говоря, что драма жизни нашей со всеми ее тайными и тонкими ощущениями полна мистической неразгаданности!

Питать такое отвращение, и вдруг!

Маша велела продолжать Елене уборку вещей в зале; увела меня в другую небольшую приемную свою, которую я еще не видал, и, извинившись, оставила меня одного.

Я сел и любовался. Гостиная эта была только что заново отделана и украшена с удивительным вкусом. Резной деревянный потолок, стены и дулапы[15] в стенах были выкрашены светло-оливковою краской во всех углублениях, а выпуклые узоры, карнизы и бордюры — бледно-красным цветом. Гостиная эта вроде киоска освещалась с улицы тесным рядом окон, почти без простенков, и под этими окнами во всю длину шел один простой и широкий турецкий диван. Он был обит тонким сукном темно-красного цвета, а все кантики на его швах, на длинном ряде подушек, какие-то полукруглые уголки на этих

подушках и тяжелая бахрома внизу, все это было ярко-палевого цвета, — странное сочетание, которое, однако, очень любимо турками и к которому скоро привыкает русский глаз, тоскующий по столь родственной ему пестроте. Скатерть на круглом столе посреди комнаты была черная бархатная, по заказу в Царьграде расшитая великолепными разноцветными турецкими надписями и вензелями, ковер на полу был смировский, темно-зеленый, с густым ворсом; там и сям стояло несколько покойных кресел европейского фасона, обитых также сукном, только не красным, как диван, а каким-то почти оливковым, подходящим под цвет стен и потолка. Чугунная американская фигурная печь топилась направо. Налево, у другой стены, на белом мраморе узкого стола стояли две большие вазы... японские или китайские, не знаю и названия этого фарфора не помню, только он весь нарочно делается как бы мелко истресканным. Но чуть ли не лучшим украшением этой странной и прекрасной комнаты были четыре стула, из числа тех, которые я обвязанными видел в зале. Дерево на них все было заново по-

золочено, а подушки, как на сиденье, так и овальные на спинках были вышитые по канве; на фоне белого шолка были изображены пастушеские сцены, деревья, зелень, овечки. Пастушка прядет, пастух-юноша берет ее за подбородок; пастух играет на свирели один, пастушка ласкает собаку. Этот белый шолк и золото! Прелестно.

Видно было, впрочем, что эту комнату только что обновили; в ней было все так свежо, изящно, но еще пусто, с ней еще не сжился никто: не было ни книги на столе, ни женской работы, ни забытой детской игрушки. «Но это придет само собою!» — думал я и, осматриваясь кругом, продолжал восхищаться.

Когда мадам Антониади вернулась с работой в руках и села, я выразил ей свой восторг.

— И эти стулья, шолком шитые! это так кстати! — сказал я, — овечки, пастушки роково посреди всей этой турецкой пестроты. Точно какой-нибудь великий визирь прошлого века купил их как редкость для своего гарема или даже привез их как добычу из какого-нибудь австрийского ограбленного замка!

— Эти стулья мое создание; я сама вышила их, — сказала Маша.

— Нет! — продолжал я, — визирь прошлого века не сумел бы так убрать свой гарем! Для этого нужно именно то, о чем я так напрасно мечтаю для нас, русских — смелое соединение восточных вкусов с европейскою тонкостью понимания!

И я опять то любовался на милые эклоги золотых стульев, то рассматривал скатерть, то удивлялся удачному в смелости своей сочетанию красок в этом убранстве, то хвалил резьбу потолка.

Мадам Антониади, улыбаясь, следила за моими движениями и, наконец, сказала:

— Я все время думала об вас, когда убирала. Мне хотелось угодить вам. Кажется, удалось?

— Я не могу на это отвечать, — сказал я даже с досадой. — Что тут слово! Впрочем, оставим это. Я должен вам сказать, что я пришел к вам с поручением.

— От кого это? — с любопытством спросила она. — От двоих консулов.

Любопытство ее возрастало; она оставила

работу и с живостью переспросила:

— Ко мне — от консулов? От каких? От каких? Что такое?

Но нас прервали. Дверь из залы тихонько отворилась, и вошла Акриви. Она была одета так, как одеваются турецкие девочки, только лучше их. На черных и смолистых (как у отца) волосах ее, стриженных в кружок, был небольшой белый газовый платочек, обшитый мелко и пестрою бахромой; платочек был пришпилен с одного боку двумя бриллиантовыми звездами на витой проволоке, и звезды эти дрожали и блистали при каждом движении маленькой Акриви. Одежда на ней была вся из палевого яркого шолка, с какими-то небольшими черно-лиловыми и белыми фигурками. Верхний кафтанчик был перехвачен поясом с серебряными круглыми пряжками, а шальвары очень пышны и широки, до земли, но сшиты так, что они нисколько не мешали ей ступать и даже бегать, если б она захотела. В руках Акриви держала небольшой серебряный поднос с двумя прекрасными зарфиками черного фарфора.

В ту минуту, когда дверь отворилась, пока-

залась в ней Елена. Она отворяла эту дверь и, пропуская вперед барышню с подносом, сказала громко и весело:

— Иди, иди, туркуда наша. Иди, милая, весели русского нашего челибея[16].

Акриви шла ко мне с кофеем не спеша. Ее бледное, восковое личико было серьезно, и черные, тихие, покойные глаза удивительно напоминали отцовские.

Принимая из рук ее кофе, я сказал вполголоса, как бы не обращаясь ни к кому:

— Что ж это такое?.. Это можно с ума сойти! Девочка взглянула на меня с удивлением и вдруг спросила все с тем же серьезным и почти печальным лицом:

— Отчего?

Мать громко засмеялась; а я, взяв за руку Акриви, притянул ее к себе и сказал:

— Оттого, что ты так мила в этой одежде, что мне хочется расцеловать тебя.

Акриви немного попятилась и, пожав плечами, сделала небольшую гримасу и опять так же кратко и резко воскликнула по-французски:

— Pourquoi m'embrasser?..

А потом, обратясь к матери, спросила погречески:

— Поцеловать его или нет?

Мадам Антониади очень забавлялась этими выходками дочери и велела ей меня поцеловать. Тогда Акриви обняла меня прямо рукой за шею и поцеловала крепко и радушно прямо в губы.

Я был очень тронут этим простым движением серьезного и задумчивого ребенка.

После этого Акриви спросила у матери:

— Что мне, сесть теперь или стоять с подносом, пока monsieur будет пить кофе?

— Сядь, сядь, — сказала ей мать. — Теперь мне не до тебя, подожди... Какой же консул дал вам ко мне поручения? Ко мне! как это странно.

— Во-первых, Остеррейхер. Он очень желает, чтобы ваш муж служил у него почетным драгоманом, и вместе с тем боится, что Виллартон пересилит. Виллартон сам признался Остеррейхеру в своих видах на вашего мужа... И Остеррейхер просил меня выведать как-нибудь, которое из двух консульств он предпочитает.

— Вот как! — сказала мадам Антониади, — мой муж здесь, я вижу, словно хорошенькая женщина: его разрывают на части!

— Это понятно, — заметил я, — ваш муж богатый негоциант, образованный, дельный, основательный. Соединение таких качеств редкость в Адрианополе, и я понимаю консулов; они хотят украсить, так сказать, вашим мужем свои консульства.

Мадам Антониади задумалась над своею работой. Она долго молчала и потом, пожав плечами, сказала довольно сухо:

— Что же я тут? Это воля *monsieur* Антониади. Вы бы обратились к нему.

— Я не мог наверное знать, что он теперь в конторе (солгал я); разумеется, если б он был дома, я бы обратился к нему самому. А теперь я вынужден спешить, потому что я не говорил еще о третьем сопернике, который тоже имеет претензии завладеть сердцем *monsieur* Антониади.

— Это еще кто? Неужели *monsieur* де-Шервиль!? У него этот страшный Менжинский. Разве он с ним расстается?

— Нет, не де-Шервиль, а наш Богатырев!

— Богатырев!?! — с удивлением спросила Маша и даже покраснела отчего-то (я думаю, от тщеславной радости, что за ее мужем так ухаживают).

— А что вы делаете с вашим знаменитым Канкелларио?

— Ничего мы с ним нового не делаем. Все то же. Богатырев нуждается в хорошем представителе для тиджарета: вот что хочет он предложить вашему мужу, так как он сам желал пользоваться русскою протекцией.

— Да, вот что! — воскликнула т-те Антониади и опять задумалась, продолжая прилежно вышивать свой вензель на батистовом платке.

Акриви во все это время, пока мы разговаривали, сидела смирно и ждала, чтоб я допил кофе.

Я кончил; Акриви привстала, поднялась на цыпочки, поглядела издали в мою чашку и сказала матери:

— Monsieur Ааднев кончил свой кофе. Могли я уйти теперь?

— Иди.

— Я разденусь, — прибавила Акриви, — я

должна еще помогать Елене разбирать вещи. Я боюсь испортить платье.

— Хорошо, хорошо, иди, — сказала мать с нетерпением. Видимо, ей хотелось что-то наедине мне сказать.

Когда мы остались одни, м-ме Антониади начала так, пожимая плечами и не без смущения:

— Послушайте, вы меня ставите в трудное положение. Я здесь еще ничего не знаю. Вы верно хотите, чтоб я как-нибудь подействовала на мужа. Я боюсь сделать вред его интересам и потом (она стала очень серьезна и опустила глаза), потом я на него имею очень мало влияния. Мы с ним никогда не сходимся в понятиях. Это иногда очень скучно!

Я молчал и ждал, что она дальше скажет.

Она продолжала опять пристально и серьезно взглядывать мне в глаза:

— Я ничего не понимаю еще в здешних делах — что опасно, что выгодно. Теперь такие волнения. Может быть, английский консул может лучше нас оберегать от какой-нибудь турецкой несправедливости. Я говорю вам, что я ничего, ничего этого не знаю, и потом я

так ненавижу всю эту коммерцию, все эти суды, все эти дела! Отец мой, правда, занимался тоже торговлей в России и Молдавии. Но я на все это не обращала никакого внимания! Понимаете?

— Понимаю.

— А вместе с тем я не могу взять на себя какую-нибудь ответственность в таких делах. Как я решусь влиять на мужа! Я, может быть, сделаю что-нибудь не так, чтобы понравиться русским, которых я так люблю. А это будет вредно! Понимаете?..

Говоря это, она чуть-чуть покраснела, и я, отвечая ей «понимаю», тоже смутился от радости.

— Пойдите, я еще не кончила, — сказала она с жаром. — Я хочу быть откровенною с вами сегодня. Видите, я терпеть не могу коммерции, но ведь я этой его коммерции обязан всеми удобствами моей жизни. Он приобрел свое богатство большою энергией и большими лишениями. Да! я вам обо всем этом когда-нибудь расскажу. Он много перенес, и при этом он честный человек, верьте мне! А у меня ничего не было, кроме кой-каких вещей.

Des petits riens! И вот что еще, слушайте — вот я эту турецкую одежду сшила моей девочке еще в Константинополе. Я знала, что вам это понравится. Ну? Вы понимаете, на чьи труды, на какие деньги я доставляю себе такие удовольствия. Да, поймите. Я трачу много на себя и на дочь для моего удовольствия, потому что люблю, так же, как и вы, чтобы все было красиво. Что ж мне делать, если без этого мне тоска. Я скучаю нестерпимо в том коммерческом кругу, в котором принуждена жить с ним. И терплю это, а он выносит мои расходы. Я говорю, что мы иногда бываем несогласны, и вы видели пример, как я глупо рассердилась у monsieur де-Шервиля в доме, когда мы спорили, где нанимать квартиру. Нет, лучше об этом не говорить. Я была очень глупа и противна тогда. Мой муж был прав. Но это бывает очень редко. Прошу вас, не думайте, что ссоры у нас бывают часто. Мне было бы очень стыдно. Их почти никогда не бывает: мы оба вовсе не вспыльчивы. Простите, я так много наговорила, что сама теперь не знаю, что вам сказать.

— Вы хотели объяснить, — сказал я, — по-

чему вы не можете вмешаться в те дела, о которых я вам говорил. Но вы, кажется, не ясно поняли, о чем речь. Ваш муж сам, вы помните, при вас спрашивал у Богатырева, нет ли какого-нибудь средства пользоваться русскою протекцией в тяжёбных делах и вообще в торговых. Мы придумали сделать его русским представителем в тиджарете.

— Что такое тиджарет? я забыла.

— Тиджарет — коммерческий суд. Все дела по распискам, векселям и т. п. судятся в этом тиджарете, и каждое консульство имеет в нем двух представителей из каких угодно подданных и какой угодно веры, лишь бы знали дела. Правда, что положение такого азы (они называются аза) не даёт права на такое безусловное покровительство со стороны русского, например, консула, каким пользуется русский подданный, русский драгоман, русский кавасс. Но все-таки это способствует...

Маша покачала печально головой и вздохнула.

— Что с вами? — спросил я с удивлением.

— Это ужасно скучно все, что вы говорите!

Что мне до этого за дело? Вы мне скажите просто, чего вы от меня хотите: хотите вы, чтобы муж мой был австрийским драгоманом или английским, или чтоб он у других вовсе не служил, так и скажите.

Я смотрел на нее. Выражение лица ее было все-таки такое хитрое! Что мне ей ответить? Я отвечал искренно:

— Я? Я чего хочу? Я хочу прежде всего, чтобы вам было хорошо и чтобы вы не могли на меня жаловаться. А насчет того, будет ли у кого-нибудь ваш муж драгоманом или нет, по правде сказать, мне все равно. Конечно, как-то лучше, чтоб он не служил ни у Виллартона, ни у Остеррейхера. Обманывать он едва ли их станет, а без обмана будет раздвоение, хотя, простите... и без вашего мужа наши главные интересы в стране будут соблюдены. Я не знаю, что думает об этом консул. Но если б я был консулом, я не желал бы, чтоб он служил у Виллартона.

— Почему?

— Виллартон старается во всем нам мешать. Приятно ли будет вашему мужу служить нам в тиджарете и обдeldывать под на-

шим флагом свои личные дела у турок; а потом делать с Виллартоном совсем другое — или нас обманывать, или его.

— Скажите какой-нибудь пример, чтоб я поняла, — сказала она.

Я не долго затруднялся представить ей живой пример. Я рассказал ей историю моего Велико; объяснил ей, что держать в своем консульстве его было бы неудобно, так как там бывает множество посетителей, и беглец, незаконно у нас скрывшийся, может быть легко узнан и поэтому он живет у меня, пока я не управляю и многих принимать не обязан.

— Итак, — сказал я ей, — вообразите себе, что ваш муж служит у Остеррейхера или у Виллартона. До них доходят, положим, смутные слухи о каком-то молодом болгарине, скрытом у меня в доме. Виллартон поручает вашему мужу нарочно посещать меня почаще и выведать истину. Он возбуждает пашу протестовать; положим, мы, не стесняясь ничуть, отрекаемся, отвечаем даже очень дерзко на это, а сами тайком отправляем Велико куда-нибудь в безопасное место. Все это так;

мы его не выдадим. Но приятно ли будет вашему мужу стать таким сыщиком, и против кого же? Против той России, которую вы так любите и которой протекцией он сам желает пользоваться? К тому же, вы знаете, Богатырев не сегодня, завтра уедет в отпуск, чтоб обвенчаться со своею невестой, и без него все дела будут опять в моих руках. А мне действительно было бы неприятно, если бы ваш муж был драгоманом у Виллартона. Про австрийского консула я не говорю: к нему он, вероятно, сам не пойдет.

— Благодарю вас, — сказала Маша, — мне больше ничего не нужно. Я постараюсь, чтобы мой муж Виллартону не служил. Я докажу вам сейчас, как я вам верю!

Она вышла на минуту и воротилась с небольшою запиской, которую и дала мне прочесть.

Записка была от Виллартона к ее мужу, на французском языке.

«Дорогой мой monsieur Антониади, — зайдите сегодня ко мне попозднее. Я сообщу вам много интересного, и к тому же нам необходимо решить поскорее, будете ли вы у меня

драгоманом или нет? То, что вы мне говорили о множестве забот ваших и недостатке времени, меня беспокоит. Я надеюсь убедить вас и положить конец вашим колебаниям. Нет ли тут каких-нибудь враждебных мне влияний?

Весь ваш Виллартон».

Я прочел записку, поблагодарил m-me Антониади за такое доверие и, взглянув на часы, решил с ней расстаться, хотя это было мне очень тяжело.

— Ну, прощайте, — сказала она, взяв мою руку. — Когда ж мы увидимся?

Раздосадованный уже тем, что надо еще раз уходить, не дождавшись еще и на этот раз прямого, ясного до грубости объяснения в любви, я ответил ей с небольшим раздражением.

— Это странно, что вы не хотите понять меня! Прикажите, и я буду ходить каждый день. Я не смею.

Маше мое раздражение понравилось.

Она опять вспомнила Фламариона и сказала:

— Надо все видеть в розовом свете, «надо плавать в розовой атмосфере», и вместе с

тем...

Она остановилась.

— Что вместе с тем?.. Это мученье! — И вместе с тем, помните: держать «ушки на макушке». Я все понимаю, не беспокойтесь. Пожалуйста, постарайтесь и вы понять все как должно. — Как должно? Я не знаю.

— Поймете, поймете, — настаивала она. — Да, я забыла вам сказать: мадам Чобан-оглу, вы знаете, мне соседка. Я с ней хочу подружиться; она очень неинтересна бедная. Но она держит себя посвободнее других здешних дам. Мы будем с ней часто, может быть, гулять по утрам в Эски-Сарай и к Михаль-Кэпрю. Имейте и это в виду. А сюда ходить... как вам сказать? Надо наградить ваше терпение. Я очень, очень вам за него благодарна. Ходите иногда раз в неделю, иногда два, всегда вечером, а иногда так, как сегодня — до обеда. Понимаете?

— Конечно, понимаю! — воскликнул я.

— Я сказала вам, что вы все поймете понемногу.

И опять, приостановившись на миг, она вдруг испортила всю мою эгоистическую ра-

дость такого рода неожиданными словами:

— Поймете лучше и мужа моего и мои к нему отношения. Они не совсем такие, как вы, кажется, думаете. Если я не ошибаюсь, они гораздо лучше! Ну, идите, идите теперь.

Я опять ушел, смущенный и взволнованный, не зная, радоваться ли мне чему-то или огорчаться?

XIX

В консульстве я застал Виллартона. Они оба с Богатыревым сидели посреди большой залы у стола на качалках и молча качались. Богатырев задумчиво вертел в руках какую-то записку, а лицо его было очень серьезно.

Виллартон, всегда очень подвижный и впечатлительный, быстро вскочил со своего места, чтобы поздороваться со мной, и приветливо сказал:

— Что с вами? Вас совсем не видно! Вы так давно и у меня не были.

Я заметил на лице его, в его выпуклых и беспокойных глазах какие-то неопределенные, но очень знакомые мне следы недавнего волнения.

Виллартон был один из тех людей, у которых при всех сильных ощущениях к глазам приливает кровь и готовы даже навернуться слезы.

Вот нечто подобное я уловил на его лице в ту минуту, как мы здоровались.

Я догадывался, что между двумя прежде столь дружными, а теперь враждующими представителями Англии и России был пред моим приходом какой-то тяжелый разговор. Я не ошибся.

Виллартон побыл при мне недолго. Он был все в волнении; вставал, садился, кидался на качалку, опрокидываясь назад и высоко поднимая ноги, шутил со мной. Но все не весело. И потом вдруг надел шляпу и, протягивая Богатыреву руку, сказал:

— Так до свидания. До завтра? Я буду ждать! Богатырев ответил что-то глухо, очень глухо, едва привставая с кресла, и оба сильно покраснели в ту минуту.

Виллартон ушел, и Богатырев не потрудился даже проводить его до дверей.

— Ну, что же, какое решение вы принесли? — спросил у меня консул, когда мы оста-

лись одни.

— Мадам Антониади берется повлиять на мужа, чтоб он у Виллартона не служил. Она показала мне записку Виллартона.

Я передал Богатыреву содержание записки и не забыл, конечно, сказать «о враждебных влияниях».

— Это хорошо, — сказал хладнокровно консул, — вот и другая его же записка ко мне. Прочтите.

Говоря это, он подал мне ту бумажку, которою он так долго молча играл.

Я читал с изумлением. Это был вопль о пощаде.

«*Cher ami*, — писал Виллартон, — я не знаю, почему вы так переменились ко мне. Я теперь один в Адрианополе, без семьи: мне очень грустно, а вы ко мне вовсе ходите».

Следовали воспоминания о прежних днях дружбы и веселости, при Ахмет-Киритли-паше, о домашних спектаклях, словом, о том веселом времени пиров и умного дурачества, о котором так сожалел и Остеррейхер этим же самым утром в разговоре со мной. Письмо кончалось убедительною просьбой отобедать

завтра en tête-à-tête в английском консульстве.

— Бедный Виллартон! — сказал я, возвращая записку.

Богатырев весело и безжалостно улыбнулся и сказал:

— Он тут сидел и почти плакал. Вот до чего он доведен. Il se sent complètement isolé; де-Шервиль ему не доверяет; у греков и болгар здешних он не популярен, хотя и ухаживает за ними. Один наш Михалаки сколько вреда ему делает в христианской общине, он его лично за разные прежние шуточки и насмешки ненавидит. Остеррейхер тоже. Этому уж одно то досадно, что Виллартон лучше его жить умеет и что мадам Виллартон никогда с его Амалией не могла быть дружна, — скучно с нею.

— Все это хорошо, — сказал я; — но неужели необходимо теперь совсем забросить его и не бывать у него вовсе и всячески раздражать его? Вы можете действовать против него в политике, продолжая быть с ним лично любезным, если ему это приятно.

— Нет, — решительно воскликнул Богаты-

рев, вставая, — с ним это невозможно. Разве вы не помните, что тотчас по приезде моем он начал ежедневно с утра ходить ко мне и следить за всем, что я делаю, много ли пишу, кого принимаю? Надо довести его до того, чтоб он отвадился от нашей двери и перестал бы за нами следить.

И действительно, я вспомнил один случай, на который я не обратил сначала большого внимания. У Богатырева был званый обед для одних только православных. Это было одно из тех собориц, посредством которых консулу удалось примирить и укрепить не так давно расстроенную и обессиленную раздором православную общину. Председал на этом пиру сам митрополит Кирилл; был греческий консул, перешедший тогда на нашу сторону; были все самые влиятельные и умеренные по образу мыслей греческие и болгарские старшины. Конечно, присутствие всякого иностранного консула было бы неуместным на соборнице чисто православного духа. Но Виллартону непременно хотелось знать, что у нас делается, и он, не приглашенный никем, под предлогом давней дружбы и фамильярно-

сти с Богатыревым, пришел в консульство в самый разгар пиროвания.

Обед был в нижнем этаже, в столовой; я сидел против стеклянной двери, выходявшей в большие сени. Доктор Чобан-оглу только что встал с бокалом, возбужденный, покрасневшийся, пламенный, феска назад, и начал так:

— Я пью за здоровье и долгоденствие Русского Императора! Я пью за процветание великой православной России нашей. Я говорю нашей, потому что без нее все мы, и греки, и болгары, и сербы, и молдо-валахи давно бы исчезли без следа и погибли бы под пятою врагов. Ура!

Все отвечали ему восторженным криком.

В эту самую минуту в освещенных сенях, за стеклянную дверь, явился Виллартон в круглой шляпе. Он приостановился как бы на одно мгновение и, озираясь, почти бегом кинулся наверх по лестнице. Мы слышали его быстрые шаги по ступенькам. Все переглянулись, кто в смущении, кто с улыбкой.

— Пускай его себе! — сказал Богатырев и, встав, начал еще громче, чем Чобан-оглу, го-

ворить по-турецки (так как по-гречески он, не приготовленный, не мог говорить, а по-французски не все понимали). Он провозгласил на турецком языке тост за единение и силу христианской общины во Фракии.

Когда обед кончился, Виллартона уже не было наверху. Он как-то прошел назад незамечанным.

Поступок этот, почти ребяческий и, конечно, агенту великой Державы не совсем приличный, объяснялся чрезвычайно нетерпеливым и беспокойным нравом Виллартона. Он узнал, вероятно, что у нас пируют друзья России, не утерпел, чтобы не взглянуть, под предлогом того, что все привыкли его видеть прежде беспрестанно в русском консульстве запросто; прибежал как будто нечаянно, увидал, услышал кой-что и скрылся!

Все это так, но что же мне делать, если даже эта выходка веселого англичанина более забавляла, чем возмущала меня?

— Вы правы, может быть, — заметил я Богатыреву. — Но я придал бы всему этому на вашем месте другой оттенок. Общество Виллартона все-таки приятно, и сам он такой все-

таки славный малый, особенно здесь, где каждый день выносишь сношения, и даже очень близкие, с торговцами, подобными нашему Михалаки.

Богатырев рассердился:

— Я сколько раз просил вас о Михалаки при мне худо не говорить, — воскликнул он, — не только вы, но и я без него здесь бы ничего не значил. Нельзя...

Спор наш был прерван слугой, который позвал нас обедать; у дверей столовой мы встретились с Михалаки. Он вошел в нее вслед за нами и остался обедать. Лицо его сияло.

— Eh bien? — спросил его консул.

— Eh bien, — повторил драгоман самодовольно и весело, — des succès, des succès et encore des succès!..

— Говорите, говорите...

— Антониади рад, Москов-Самуил рад. Пропаганде новый удар; десятого гостя для пустого места нашел... С чего начать прикажете мой отчет?

— С гостя, с десятого гостя! — весело закричал консул.

— Осман-паша из города Эноса приехал за

инструкциями к Вали-паше. Un bon Turc, un vrai Turc! старый, такой, каких нам нужно. Ничего не понимает. Калос

Христианос, как мы здесь говорим; я уже велел стороной предупредить его, чтобы не уезжал; извините, я позволил себе сказать, что вы завтра сделаете ему визит.

— Непременно, непременно! благодарю вас... Какой вы молодец, monsieur Михалаки, вы все умеете сделать. Ну дальше что?

— Теперь о пропаганде. На днях пришел ко мне Куру-Кафа[17]. Я пока молчал об этом. В этом деле было нечто щекотливое, и потому я молчал и предпочел принять все на себя. Приходит ко мне Куру-Кафа и говорит: «Есть еще у нас в Киречь-Хане несколько униатских семейств. Они хоронили своих покойников в одном пустом месте, на котором был прежде, давно, виноградник одного грека. Я задумал искоренить все это и предложил этому человеку обратиться в Порту с прошением, чтобы кости этих болгар приказали перенести, куда хотят. Земля его. Народ у нас, вы знаете, простой, скажут: нет, мы в самом деле верно согрешили, что стали униатами, вот и

кости наших родителей повыкидали! И перейдут все опять в Православие». Это Куру-Кафа мне все говорит и просит доложить вам.

— Что же вы ему на это сказали? — спросил Богатырев.

Михалаки придал своему лицу особого рода серьезный оттенок, который был нам уже очень хорошо известен. Оттенок этот означал: «теперь я притворяюсь. Поймите это!» И мы понимали.

— Я сказал Куру-Кафе (продолжал Канкеларио невинно), что консулу докладывать об этом боюсь, что русские не то, что здешние люди. Они очень все религиозны и сочтут такое дело за поругание святыни... А надо как-нибудь иначе. Что ж, конечно, хозяин виноградника, одно слово «хозяин», имеет право! Мешать этому нельзя.

— Ну и что ж?

— Кости выкинули, и униаты были у митрополита и покаялись: возвратились в Православие. Только неприятно то, что отцов этих семейств посадили теперь турки в тюрьму. Пропаганда платила за них подати, и польские священники имеют от них расписки, как

всегда. Их представили, и этот толстый Ариф-каймакам-паша посадил их в тюрьму. Надо их выкупить. Мы с доктором Чобан-оглу немного собрали. Но надо еще. Я уверен, что это все интриги Виллартона; он очень сближается с Арифом и

действует даже в пользу католиков, чтобы только повредить Православию и нам.

— Вот видите! — воскликнул Богатырев, обращаясь ко мне. — Разве можно его щадить!.. Мы завтра же выкупим этих болгар. Дайте знать им туда, чтоб они были покойны. Я сам поеду к митрополиту и к паше. А сколько нужно еще денег?

— Не так много, — отвечал Канкелларио, — пять-шесть лир, не более.

Богатырев тотчас же достал свой портмоне и положил 1 золото пред торжествующим драгоманом.

После этого Михалаки приступил к отчету о своих свиданиях с Антониади и Москов-Самуилом.

— Самуил, бедный, очень рад. Он в восхищении от мысли, что у него будет золотая медаль, тогда как даже у меня серебряная. Анто-

ниади тоже, кажется, доволен. Впрочем, о службе у Виллартона или у Остеррейхера я ему ничего не говорил. Я не был на то уполномочен.

Богатырев заметил, что этим уже я занялся и что с одной стороны мы, кажется, обеспечены. Потом он рассказал ему о записке и об огорчении английского консула, и мне опять стало жаль Виллартона и стало досадно, зачем это Богатырев предает уже до такой степени этого джентльмена на поругание... И кому же! Этому злому хаму?.. Михалаки слушал с умилением и потом, обратясь ко мне, воскликнул:

— Des succès! Partout des succès?! N'est ce pas, monsieur Ladnew? Я издали увидал вас, как вы поворачивали

в Кастро, и тогда же подумал: Антониади наш!.. И там, вероятно, был успех...

Рассуждая теперь, через столько лет, я думаю, что слова Михалаки были очень просты и что в них не было ни малейшего яду; но тогда, под влиянием других впечатлений, я прочел в них какую-то фамильярность, какое-то поползновение на что-то, которое меня

несколько раздражило.

Я пожал только слегка плечами и молчал.

— Как! — с удивлением спросил Михалаки, — вы не находите, что у нас во всем теперь успех и беспрестанные, хотя и небольшие, но очень важные по своим последствиям, победы?

Мне захотелось сказать ему что-нибудь неприятное. Я всегда удивлялся, как это может Богатырев так тесно и неразрывно сливать в поведении своем свои политические сочувствия с личными: про ненавистного Михалаки он даже и мне, даже с глазу на глаз не давал сказать ничего худого; а к Виллартону, лично столь приятному и доброму, он был беспощаден; я до сих пор не знаю, чему приписать это, крайней ли жестокости сердца и фальшивости Богатырева или чему-нибудь лучшему, иному — не знаю.

Я, разумеется, понимал, что действовать по службе надо в тесном союзе с Михалаки против Виллартона; но зачем же быть точно как бы в самом деле искренним в своей дружбе к политическому союзнику и в отвращении к политическому врагу? Мне казалась та-

кая односторонность всегда чем-то лишним и чуть не глупым.

И на этот раз мне захотелось отравить хоть немного радость нашего гадкого союзника, и на второй его вопрос я отвечал так:

— Я согласен, что удач много; но я нахожу, что ругаться над могилами униатов все-таки не следовало. Уж лучше просто бы пообещать, что заплатят за них подати, Как можно принимать на себя такую ужасную ответственность из-за таких пустяков. Если бы здешние приматы, как болгары, так и греки, претендующие на образованность, имели более искренности в религиозном чувстве своем и не делали бы тайком всяких мерзостей, не обманывали бы народ, так не нужно было бы прибегать ни к каким «sacrilèges»... А то какой-нибудь архонт православный ест дома постное для детей и прислуги и потом тихонько бежит в локанду и жрет там мясо (Михалаки это делал). Нет, это не только ужасно, это низко и мелко!.. И народ не обманешь... Он остается верен своей святыне, но в вождей своих он утрачивает веру, и прямые пути обращения и проповеди теряют свою силу.

Я попал метко... Михалаки покраснел и смутился; он отвечал довольно мягко:

— Меня это удивляет в вас, — сказал он. — Конечно, я из деликатности должен был простому лавочнику болгарину Куру-Кафе упомянуть о религиозности русских; но позвольте... Разве monsieur Ладнев, человек столь начитанный и ученый... философ, можно сказать, — разве он может верить, что есть душа? Что такое эта душа?

Я засмеялся и возразил:

— Один русский писатель... Вы ведь здесь русских писателей не знаете... Он описывает, что у его отца был крепостной лакей, которого посылали учиться фельдшерскому искусству. Он заболел, и когда отец писателя предложил ему причаститься, то он отвечал, что не может, потому что учился анатомии и знает, что души нет! Теперь и я вам то же скажу, что и вы мне: как это вы, господин Михалаки, человек умный, не стыдитесь говорить то же, что этот слуга?

Это уже было слишком! Глаза Михалаки засверкали яростью: он побледнел теперь и взволнованным голосом возразил совершенно

ный вздор:

— Бывают разные философии, но мы здесь люди практические и без них обходимся!

Богатырев был, видимо, ужасно недоволен мною за это. Он так дорожил своим незамеченным драгоманом! Он молча и нахмурившись ел, пока мы говорили, и потом,

возвысив тон, почти до повелительности, обратился ко мне по-русски (Михалаки по-русски не знал):

— Вы бы уж оставили это... Всякий имеет право верить или не верить, как хочет...

— Оставил, оставил, — сказал я, улыбаясь. — Довольно с вас и этого.

— Напрасно, напрасно! — прошептал Богатырев очень тихо и опять замолчал.

Обед наш, начавшийся так весело, кончился мрачно... Никому говорить не хотелось. После обеда Михалаки ушел к себе, поклонившись мне очень почтительно, но издали; я спросил у консула, отправил ли он ко мне на дом те бумаги, которые он приказывал давеча мне переписать к завтрашнему курьеру.

— Отправил, — глухим басом, чуть слышно и вовсе не глядя на меня, отвечал Богаты-

рев.

Я ушел к себе домой, говоря про себя: много случилось сегодня такого, о чем надо подумать!

XX

Как я был рад вернуться домой! С утра я был все с людьми, и мне было так приятно сосредоточиться и отдать самому себе медленный и внимательный отчет во всех моих впечатлениях за этот оживленный день. Я велел зажечь лампы и затопить обе чугунные печи в приемной с диваном кругом стен и на узкой галерее, которая служит залой. Лампы зажеглись; печи запылали тотчас; добрый старик Христо и оба юноши мои Велико и Яни с особою радостью и усердием, как будто они целый месяц меня не видали, спешили исполнить мои приказания. Они все улыбались мне, смотрели мне в глаза. Яни даже заговорил со мной первый; затапливая печку, он приподнялся немного и, опираясь одною рукой на пол, взглянул на меня ласково и спросил:

— Что это вас целый день не было дома?

Мы без вас соскучились...

— Дела, Яни, разные дела, — сказал я.

— Дела! — повторил Яни, качая головой. —

А вот для нашего молодца, для Велико, — продолжал он, — дела не хороши!

— Чем? что такое? — спросил я с нетерпением (мне так хотелось, чтоб они все поскорее ушли!)

— Один лях офицер (такой здоровый!) нанял себе дом на углу против нас. Теперь, я говорю, Велико, совсем к нашим воротам не подходи: увидят тебя, и эффенди нашему будут неприятности.

— Конечно, надо теперь стать еще осторожнее, — заметил я. — Но ты, Велико, все-таки не должен слишком бояться и терять голову. Яни правду говорит, хлопоты и неприятности будут нам с консулом, и даже консулу более, чем нам; но тебя мы, не бойся, ни за что не выдадим...

Велико в это время поправлял лампу, стоя ко мне спиной; он обернулся и, взглянув на меня кротко и покойно своими большими и томными серыми глазами, сказал:

— Я у вас, эффенди, ничего не боюсь!

— Вот и прекрасно, — воскликнул я и велел им уйти и оставить меня поскорей одного.

Я был ужасно рад, когда они, притворив за собой дверь, побежали с лестницы, играя и толкая друг друга с громким смехом...

— Наконец я один, я свободен!

Тяжелые ворота мои крепко-накрепко заперты. Теперь поздно, и никто не ударит в них железным кольцом. Голоса добрых слуг моих утихли в дальней кухне. Во всех окнах мрак, и многолюдный город безгласно чернеет у подножия ног моих за высокою стеной высокого двора.

Безмолвие, блаженное безмолвие!.. Даже приветливый голубок, мучительный и милый друг моих утренних мечтаний, теперь не воркует у окна приемной моей, а спит на обнаженной ветке персика у сырой стены... Только чугунные печи по всем комнатам пылают огнем и весело мечут искрами. Там, правда, где-то на столе лежит порядочная кипа бумаг, — всё плоды богатыревского самохвальства. Бог с ними! ночь длинна, и я не коснусь их до тех пор, пока... О, мысли мои,

мысли! где вы? Дайте собрать мне вас, дайте связать вас крепкою связью ясного вывода решимости! Как все тихо, Боже!.. Какой деятельный день был сегодня! «Успехи, успехи и еще успехи!» — изрек сегодня этот мерзавец, которого я так жестоко обличил в лакейском атеизме. Так ли это? и у кого эти успехи? У них с Богатыревым?.. может быть!.. И то я не вижу ничего выходящего из ряда.

Но у меня? у меня, вот что важно! Мои победы, мои удачи, — где они? Я хочу сознать, перечислить их! Конечно, я хорошо оборвал Бояджиева... И это не только сошло мне с рук, но я сумел так взяться за дело, что бешеный и смелый Остеррейхер остался доволен и дал мне даже доверительное поручение. Я почти-точно (как следует человеку охранительного духа) доказал консулу, что он был груб и неправ в своих шутках над моими отношениями к семье Антониади; я стер почти с лица земли ядовитого клеветника нашего Михалаки только за один неприятный оттенок фамильярности в тоне, возбуждавший во мне какое-то смутное беспокойство. Все это так; но все это так ничтожно и так пусто! Она, она

что сказала и что сделала сегодня? как взглянула? как сидела? Когда краснела? при каких своих или моих словах? Она ведь не сказала люблю... положим... Нет, она не сказала люблю!.. Но разве это нужно?

И я вставал с дивана и начинал ходить, еще глубже, еще внимательнее думая... Печи все пылали; лампы тихо светили; город безмолствовал; в окнах был мрак... и я все думал и думал, и бился, и блаженствовал в одно и то же время. Тонкие недоумения эти не отравляли моей задумчивой и бодрой радости, они лишь слегка подстрекали мое Рвение прийти скорее к выводу...

Как действовать впредь?.. До сих пор я все остерегался. До сих пор я не спешил... Но теперь!.. Эта дочь, в угоду мне одетая по-турецки... Этот уговор приходит иногда и до обеда, когда муж в конторе, это стремление доверяться мне, положиться на меня, когда дело идет даже о торговых и гражданских интересах этого мужа, богатством и трудами которого она пользуется и дышит. Нет, это много, очень много. Она хитра, она осторожна. И если она обнаружила столько сразу, то участь

ее сердца решена — она меня любит и, вероятно, готова на все... А если она хочет только меня увлечь и дружбой, и кокетством? Нет! Это ясно: она готова на все. Но я?.. готов ли я на все? У меня был и тогда свой нравственный критерий, в иных случаях довольно строгий.

Он был мой, этот критерий, мой собственный, долгим взаимодействием внимательного ума, доброго сердца и страстной фантазии утвержденный и гордостью взлелеянный. Мне не было нужды до того, был ли он пригоден для остального человечества или нет. Моему тогдашнему нравственному чувству он удовлетворял вполне и — чего же больше? Так я думал в эти веселые годы молодого самомнения!..

Склонив в раздумьи голову на руку мою, в безмолвном просторе моего турецкого жилища, я вспомнил и представил себе примеры. Я вспомнил, хотя и смутно как-то, одно лицо из Диккенса. Почтенный старец, простодушный, добрый, ученый, седой младенец кабинетного труда. У него молодая жена; она желает пребыть ему верною, даже вопреки дурному вли-

янию родной матери. Она жалеет, чтит, она любит своего честного и невинного старца. Вот если б я встретил такую чету... о!.. Я не мог более сидеть и вставал, чтобы в движении найти новый исход и опору мыслям. Такая чета, конечно!.. И если б юная супруга такого старца подошла бы сама (сама, непрощенная) ночью к дверям моей комнаты, я сказал бы ей: «Беги, беги скорей, пока никто тебя не видал, молись... усни и забудь эту ночь... не омрачай его чистого и тихого заката... не оскверняй высокой святости души твоей... Даже и со мной (понимаешь ты — со мной!) это будет осквернением твоего храма!..»

И на что мне Диккенс! Вот здесь на углу недалеко торгует в табачной лавке почтенный и добрый турок Гуссейн. Он сидит на прилавке с окладистой бородой, лицо его кротко и бледно, чалма чистая, белая, густые брови чернее бороды. У него такие милые котята, серые, полосатые, веселые, и он их так любит. Сам холодный изверг наш Михалаки, и тот говорит про него с чувством: «прекрасный человек! Никогда он никого даже из хри-

стиан не обидел! Святой человек!» Пусть по неожиданным и ужасным случайностям войны или других событий этот старец Гуссейн доверил бы мне молодую жену и весь гарем свой, чтоб я их хранил. Есть ли хоть тень сомнения, что если бы сам Бог, один только Бог мог знать и видеть мои поступки, то они были бы так же точно чисты и праведны, как были бы праведны в присутствии Гуссейна или на многолюдстве базара!.. Или если бы друг (быть может, и сам по себе не особенно интересный) страдал бы по жене своей, любил бы ее нежно, ревновал бы ее не из самолюбия, не из страха чужих перешептываний и насмешек, а из боязни лишиться ее расположения, — неужели я не оттолкнул бы даже грубо жену этого бедного друга... Я не подлец, и слабым героем Тургенева и жалких его подражателей я не был и быть не хочу, несмотря на весь пыл моего воображения, на всю алчность моего ненасытного, неутомимого тщеславия... Самоуничижения «сороковых годов» я знать не хочу, я его презираю. Я хочу быть правым пред высшим судьей моим, пред самим собою!

Антониади не Гуссейн; Антониади не старец Диккенса, невинно греющий у камина хладеющие ноги! Антониади не Друг влюбленный и страдающий, он сухой и холодный хам; он один из тех европейских буржуа, которых весь род я до фанатизма, до глупости ненавижу.

И пусть бы он был не старец и не друг страдающий. Нет, нет! вот пусть бы он был, например, такой, как этот "елико. Взгляните на этот рост и плечи атлета, эту славянскую русую скобку волос, на чистые, большие, юные темно-серые очи. Как длинны черные стрелки этих ресниц. Полюбуйтесь на эту пеструю курточку, на красивые складки шаровар, на жесткие и большие, но прекрасные формой рабочие руки, на бессознательное сочетание силы и женственной стыдливости его движений. Эта простая вера в нас, русских, в непобедимость защиты моей! И вот если б он, этот Велико, избрал себе подругу-отроковицу, такую же невинную и простую, как он сам, — разве эта девушка не была бы для меня дочерью, несмотря на то, что я сам еще молод?

Я ударил кулаком по столу и сказал громко, как будто я говорил ему самому: «Оставь со мной ее на год и больше и верь, что ты отдал ее родному отцу!.. Да!»

Но этот коммерсант, этот европеец! Это ужасно! Плечи его немного узки; борода растет почти из глаз! Ну что это! Из *homme honnête, ferme et laborieux*, как любят выражаться прогрессивные французы. Покоен, тверд, приличен даже! «Банабак!» Нет, он и не банабак восточный! Его хамство тонкое, самое вредное для жизненной поэзии! Просвещенное общечеловеческое хамство! В нем даже греческого мало; в нем нет той симпатичности, которую мы видим нередко в каких-нибудь усатых и грубых капитанах парусных греческих судов; наивное сочетание патристического самохвальства, набожности, отчаянной отваги, корысти, лжи и добродушия. В нем и этого нет. За что и на что его щадить, скажите?.. И разве я забыл его тон в Царь-граде, его улыбочки, его томно-самоуверенные взгляды, его твердые и пошлые возражения... «Пирронизм! Пирро-низм! Во всем сомнения!» Или: «то, что вы сказали о живописно-

сти Востока, всем известно». Каково! Это он мне говорит. Ну, хорошо!..

Довольно отречения! довольно нестерпимой тоски и одинокого уныния... Я имею особые права, права высших потребностей.

Я должен наслаждаться; ведь я
Критом, молодой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура
А он?

Нет! я не откажусь от нее. Она сама не хочет моего отречения... и к тому же разве я знаю ее прошедшее? Если другие?.. Она столько странствовала, так часто оставалась одна без мужа, когда того требовали их дела. А если она его обманывала прежде, но так искусно и умно, что не возмутила до сих пор его счастья? Зачем же я буду так прост, так глуп, так наивен? Не прав ли будет Blumenfeld, взывая ко мне так часто и так несносно с укором: «молодой человек! молодой человек!» (смешной человек! наивный человек!)!.. Нет, я не откажусь от нее.

Но все эти размышления мои были внезапно прерваны ударом кольца в ворота.
Я был взбешен.

Кто же это и так поздно вздумал меня тревожить?

Стук усиливался. Из кухни слышались голоса Яни и Христо. И кто-то из них кинулся с фонарем через двор к воротам. Переговоры у ворот длились недолго.

Посетителя впустили.

Я смотрел внимательно из высоких окон моих вниз на темный двор. Людей различить было невозможно, но показались рядом два фонаря; наш был простой, стеклянный, который светил тускло, но со всех сторон; у гостя был фонарь европейский, с толстым круглым стеклом, которое одиноким большим глазом ярко сверкало во мраке. Глаз этот двигался, бросая пред собой продолговатый и неровный свет, но владелец фонаря казался от этого погруженным в еще большую тьму.

Я следил с досадой и не мог вспомнить, у кого я видел такой фонарь.

Только приблизившись к крыльцу, неожиданный гость приподнял фонарь к лицу своему, и я увидел, что это был сам Антониади.

Боже мой! Что такое? Уж девятый час вечера. Для турецкой провинции это очень позд-

ний час. Это ночь. Чего хочет от меня этот «честный» супруг и «образованный» коммерсант?

Как всегда бывает в подобных случаях, в уме моем мелькнуло несколько догадок, одна другой нелепее и несообразнее, но самое простое мне и в голову не пришло.

Я приветствовал его как можно радушнее и спросил, чему приписать, что он потрудился по грязи, ночью прийти в этот дальний квартал.

Антониади желал быть любезным и, перекачнувшись по привычке своей чуть заметно с каблучков на носки и опять назад, отвечал улыбаясь:

— Мне за множеством хлопот не удалось до сих пор побывать у вас. Я не считаю первого визита, который был моим долгом. — И, оглядывая мою галерею, он прибавил: — Как у вас хорошо! Это то, что англичане зовут home!.. Очень хорошо. В старом турецком, в вашем вкусе.

Последние слова он сказал с особым почтительно-дружеским ударением.

— Это правда, — отвечал я, — меня до отча-

нения доводит убранство в европейском вкусе. Особенно, если оно дешевое.

Антониади на это снисходительно заметил:

— Да, у восточных людей есть свой стиль. И потом, помолчав, продолжал:

— Вы сегодня были у нас? Жена моя мне все передала.

«Как все?» — подумал я с мгновенным ужасом и ждал своего приговора.

— Насчет господина Остеррейхера и Виллартона, — объяснил Антониади. — Но она не совсем ясно и подробно передала мне все это, и мне очень было бы приятно слышать все основательнее от вас самих. Я прошу у вас тысячу извинений и надеюсь, что это не слишком вас затруднит.

Я начал передавать ему все подробно; рассказал ему даже смеясь о моей схватке с Бояджиевым (Маше я забыл об этом сказать, потому что с ней мне было не до этого).

Антониади был чрезвычайно внимателен; все чуть-чуть усмехался, гладил рукой концы бакенбард. А я был рассеян и несколько раз даже чувствовал, что говорю наобум и вот-

вот сейчас остановлюсь; потому что мысли мои были совсем не в австрийском консульстве и не в коммерческом суде и о Бояджиеве вовсе я в эту минуту не думал. Меня тревожили в это время совсем другие мысли. Я смотрел на эту белую, большую, очень красивую и безукоризненно (не по-здешнему) выхоленную руку и не мог никак освободиться от вопроса: целует ли Маша эту руку? и когда целует, то как — по движению известного чувства или из дружбы и уважения? Она сказала: «вы поймете, что мои отношения к мужу лучше, чем вы думаете...» Когда ж я пойму? когда?! Я хочу понять, постичь все до глубочайшей тонкости сейчас же... Руки хороши, но разве в этом дело! Сам он, сам... Впрочем... Боже мой... Я не то говорю... я путаюсь... О ужас! Он что-то мне говорит, должно быть очень нужное... Я ничего не слышал... я слышу только: «и давно это?» Что это? что давно? — не знаю! Я встрепенулся через силу и сказал наугад:

— Давно ли? Право не знаю.

— Как же это? — спросил Антониади с преднамеренною тонкостью и недоверием. — Вы, вероятно, это лучше всякого знаете; но... я

не смею настаивать. Дипломатия имеет свои тайны... Хотя... я думал... конечно...

— Что вы думали?

— Я думал, что г. Богатырев сам не намерен скрывать от публики того недоброжелательства, которое существует теперь между русским и великобританским консульством.

(Вот оно что! вот о чем он спросил: «давно ли они разошлись?»)

— Нет, право, я не могу вам наверное определить этого срока, — сказал я. — Ссоры явной не было никакой... Г. Виллартон слишком уж деятелен и жив характером; он слишком следил за нами... Это не всегда удобно. Но он добрый человек и прекрасный собеседник. Хорошо знает Восток...

Антониади сделал отрицательное движение головой (снизу вверх, по-восточному) и возразил с сожалением:

— Восток он знает; но характером он для Востока годится. Здесь любят людей иного рода... Он слишком подвижен и слишком просто себя держит. Между христианами он очень не популярен, а это жаль.

— Почему? — спросил я.

— Мое мнение то, что христианам лучше жить в Турции, когда Россия и Англия заодно. Это согласие подавляющим образом действует на турок. Это общее правило можно применить и к местным условиям: христиане сильнее, когда русское консульство в союзе с английским.

(Ему хочется быть английским драгоманом и в то же время служить нам «азою»[18] в тиджарете, подумал я.) И потом спросил:

— Однако что ж мне сказать г. Остеррейхеру от вас именно? Не лучше ли вам сходить самому и выразить австрийскому консулу ваше сожаление, если вы не хотите принять его предложение.

— Да, я тоже полагаю, что надо сходить самому, хотя это очень неприятно. Я не желал бы восстанавливать против себя господ консулов. Времена такие смутные! можно ожидать даже всяких опасностей. Это ужасно! В Крите, вы слышали, опять были избиения... Консула здесь — наша единственная опора... Хороший консул в Турции — это иногда якорь спасения жизни и собственности. Но удостойте меня, пожалуста, вашим советом: что мне сказать г.

Остеррейхеру в мое оправдание?

Я воспользовался этим оборотом разговора, чтобы польстить ему.

— Я никогда не поверю, чтоб элин и притом такой высокообразованный, как вы, нуждался в совете такого рода, — сказал я.

Антониади сделал томные глаза и наклонил молча голову в знак благодарности за комплимент.

— Я не здешний человек и плохо еще знаю здешних

людей и потому прошу еще раз вашего совета, — настаивал он.

— Скажите ему просто, что вам некогда и что сам Ладнев, когда передавал вам это, еще не знал, что вы уж уговорились с г. Богатыревым о службе при тиджарете. Я полагаю, этого будет достаточно.

— Да, это так. Но если я решусь принять предложение Виллартона, тогда Остеррейхеру это будет обидно. Для английского драгомана нашлось время, а для австрийского нет. Боже сохрани меня создавать себе здесь сильных врагов! У меня есть семья.

Значит, я угадал, он хочет быть почетным

английским драгоманом, и, видно, правду говорила Маша, что она мало имеет на него влияния. Подумав, однако, немного, я решился все это дело взять на себя помимо Богатырева и уклониться от духа его инструкций: показывать, что нам все равно. Я имел и право, и средство говорить прямо от себя, в виду того, что мог со дня на день сам стать во главе всех адрианопольских и фракийских дел подобного рода. Решившись действовать по-своему, я начал так:

— Послушайте, мсье Антониади. Я буду с вами прям. Вы знаете, что г. Богатырев может очень скоро уехать? Вы понимаете также, что без него все русские интересы до самого мельчайшего будут на моей ответственности? Я же не скрою от вас, что мне будет очень неприятно, если вы будете служить у Виллартона.

— Жена моя уже передала мне ваш взгляд на этот вопрос. Она даже говорила о каком-то дезертире.

— Да, он здесь, внизу, и я могу вам его даже показать, потому что вы один из лучших у нас здесь представителей Христианства.

Правда, он болгарин; но так как

идет борьба между Католичеством и Православием, то

может быть сомнения, что честный грек скорее сохранит тайну, чем какой-нибудь Бояджиев, связавший свои

интересы с унией, Австрией и поляками.

— Конечно! — пожимая плечами, сказал Антониа-ди. — Кто же станет думать об общем и серьезном политическом вопросе, когда дело идет о безопасности бедного юноши, почти ребенка!.. Это было бы неблагородно!.. Жена моя мне все это рассказала, и я понимаю вас вполне.

— Но...

Он замялся, посмотрел на меня внимательно и, подумав, решился тоже яснее высказаться.

— Времена смутные, — сказал он, — английский консул в случае волнений и опасностей большая сила! Если б, я говорю, например, если бы критское восстание привело к европейской войне; если бы (вы понимаете, это говорит во мне беспокойство семьянина и собственника), если бы Россия двинула сюда

войска, можно ли ручаться, что в турках не проснется старое янычарство? Не будут ли нас убивать, как собак... Я ведь отец семейства, мсье Ладнев, и живу трудом!

Говоря это, Антониади оживился, глаза его блистали и глядели на меня вопросительно и смело.

— Положим так, — ответил я, — хотя я почти уверен, что войны не будет; а что касается избиений, то едва ли турецкое правительство допустит это там, где сами христиане не обнаружат явного намерения восстать. Порте невыгодно без крайности восстанавливать против себя общественное мнение даже и на Западе... Но пусть будет по-вашему. Что же значит тут английский консул?.. Во время дамасских избиений все консула принуждены были отдаться под охрану паши; один английский ничего не боялся, как будто он был в заговоре. В Крите, в 58-м году, когда при Вели-паше турки города Канеи грозились перерезать всех греков, били стекла конака и влачили за ноги труп молодого грека, которого в угоду им Вели-паша велел удавить. Что делал г. Онглей, английский консул? В то время, ко-

гда все другие консульства были полны семьями христиан в надежде на то, что толпа не решится посягнуть на флаги великих Держав, г. Онглей запер наглухо свои двери и не пустил никого. Я уверен, что и наш милый, веселый и даже очень добрый Виллартон делает то же самое или в этом роде. Нация великобританская — истинно великая нация по духу, и потому на представителях ее отражается это величие. Они никогда не впадают в это пошлое смешение личной нравственности с ненужною и глупою политическою моральностью.

— Это правда, — произнес Антониади тихо и значительно. — Английская нация истинно великая! Постичь ее дух не легко иностранцу! Я несколько лет провел в Англии и не смею сказать, что я постиг ее. Даже внешний вид — что-то странное. Я помню первые дни моего приезда. Толпа народа, экипажи; какая-то молодая девица играет пред гостиницей на скрипке! Пушки палят почему-то. Приехал откуда-то какой-то генерал или адмирал, я не понял. В гостинице курить не позволяют в номере. Это было мне мученье! Эти парки, это

богатство, эта строгая нравственность семьи! И в то же время наши греческие матросы с торговых судов рассказывали мне, что к ним на корабли являются целыми партиями очень красивые девушки известного рода и просят даже не денег, а вообразите! пакли! старой пакли, чтобы продать ее и купить себе хлеба. Потом — эти слуги! Слуга, с которым вы будете обходиться фамильярно, сочтет за унижение служить у вас. «Вы не джентльмен!» Все это так странно, так глубоко даже, я позволю себе сказать... Великая нация!

Я слушал его не без удивления. Никогда еще я не видал его столь одушевленным и многоречивым. В эту минуту он в первый раз мне немного понравился; я и сам, никогда не бывав в Англии, был в этом именно смысле англоманом, оставаясь русским, быть может, иногда и до фанатизма, то есть я желал бы, чтобы Россия была так же глубока и самобытна в своем руссизме, как Англия в своих нравах; чтоб она поскорей доросла до Англии, от корней до цветов и плода отличаясь и от нее, и ото всей Европы.

— Мы отвлеклись, простите! — сказал Ан-

тониади. — оы хотели выразить ваше мнение о г. Виллартоне, кажется?

— Да, — отвечал я. — Этот Виллартон такой милый, веселый собеседник, с которым я так люблю кататься за город верхом; он не стеснится, когда Сен-Джемский кабинет найдет это выгодным, распалить и здесь мусульманские страсти и обагрить кровью все эти мирные и тихие улицы фракийских сел и городов. В такую минуту, если вы опасаетесь, не надейтесь на него. Вы хотели знать мое мнение, вот оно.

Антониади молча и с некоторым оттенком подозрительности смотрел на меня; наконец, собравшись с духом, сказал:

— Но ведь своего драгомана, своего employé, так сказать, он пощадил бы?..

Видя его колебания, я решился нанести ему последний удар и начал так:

— Как вам угодно, вы хотели совета, я вам его даю. Повторяю вам, что я все это говорю вам от себя. Из разговоров г. Богатырева я заметил, что он относится ко всему этому делу равнодушнее, чем я, ему, может быть, и все равно, будете ли вы драгоманом у другого

консула или нет. Что ж, он, может быть, опытнее, способнее меня; но всякий действует по-своему; оно и вернее. Я прямо предупреждаю вас, что при всем моем желании быть полезным вам и m-те Антониади, я, раз оставшись управляющим, тотчас же сменю вас, лишу вас должности в тиджарете, если вы будете английским драгоманом. А вы сами знаете, что при умеренности и такте, которого у вас такая бездна, вы, служа в тиджарете, можете сблизиться с самими турками. Супруга ваша русская подданная; иные дела можно будет переводить на ее имя и действовать прямо под русским флагом. Познакомьтесь с беями, с Тефик-беем, он прекрасный человек; с Ахмед-беем, он родом грек и христиан несколько жалеет; с Изетом. Пошлите m-те Антониади знакомиться по гаремам; это ее займет, скажите ей, чтоб она ото всех турецких дам уплаты визитов не ждала. У них есть своя глупая гордость, на которую советую не обращать внимания,

быть может, это и не гордость, а робость какая-то. Сблизьтесь, главное, с нашим Михаэки Канкелларио, он вас всему научит; он и

с турками коротко знаком. Он вам откроет разные ходы. А в случае опасности (которой, вероятно, и не случится) опять-таки супруга ваша русская подданная и прежде всех других имеет право на убежище в русском консульстве, а за ней, разумеется, и пред вами эти двери всегда будут широко раскрыты. И Богатырев, и я, все равно мы сумеем, я надеюсь, оправдать доверие, которого мы удостоены, и представлять здесь Россию — такая честь, что из-за нее и опасности стоит подвергнуться, если нужно. Не беспокойтесь за вашу семью ни в каком случае. Я уверен, что здешние турки даже и не посягнут на русское консульство. А пока для ежедневных интересов с вас совершенно будет достаточно, с одной стороны, вашего эллинского паспорта, а с другой — этой должности в тиджарете, которой (прибавил я улыбаясь), извините, я вас непременно лишу, если вы поступите к Виллартону, которого, впрочем, я очень люблю. Если хотите, можете ему это даже и передать.

— Quelle idée! — воскликнул Антониади и потом прибавил тоже с улыбкой: — Что ж делать! Надо согласиться с вами. Все знают, что

г. Богатырев и предшественник его сумели так поставить здесь свое консульство, что оно влиятельнее всех! К тому же и согласиться не очень трудно. Я от русской политики сам не хочу отделяться совершенно. Она благодетельна в этих странах, и только одни мечтатели «великой эллинской идеи» распространения Эллады до Балкан или даже Дуная могут быть в среде греков враждебны здесь этой осторожной и умеренной политике. Я, вы знаете, не из их числа.

— Знаю, оттого мы вами так и дорожим.

После этого Антониади несколько времени чему-то молча улыбался, как будто вспомнил о чем-то веселом или приятном. Потом сказал все с тою же легкою улыбкой:

— К тому же, вы знаете, *les femmes!* Ah! *les femmes...* Я всегда говорю: «муж глава, положим, но жена шея». Шея вертит голову. Жена моя такая руссофилка, я сказал бы патриотка даже, если б она не была замужем за эллинским подданным. Она тоже не очень хочет, чтоб я служил Великобритании. *Il faut subir cette douce influence!*.. — И он простер даже руки и опустил голову в знак смирения.

Мы побеседовали с ним после этого о разных предметах почти до полуночи. Уходя, Антониади вспомнил, что Маша поручила ему передать мне приглашение приходить иногда по вечерам почитать с ней вместе что-нибудь русское.

— Когда же прикажете? — спросил я.

— Когда угодно, — сказал Антониади. — Она любит поэзию и сказала мне имя одного старого вашего поэта. Не могу вспомнить... Зу... Жу... Шу... Pardon!..

— Жуковский?..

— Да, да! Она хочет его вспомнить, и у нее есть, но не все томы... Нет ли у вас? Она просила вас также передать от нее то же самое приглашение и г. Богатыреву, если ему это не наскучит. Маленькие литературные вечера, *en petit comité*.

Я поблагодарил, и мы дружески простились.

Опять засветился круглый глаз его фонаря во мраке; стукнуло железо ворот; опять воцарилось вокруг меня безмолвие, опять я был один сам с собою.

— Странный день, странный день, — день

разнообразных впечатлений, день досады, гнева, колебаний, любви и несомненных удач!..

И какой путь почти незаметно пройден с нашей первой встречи на Босфоре!.. Где теперь эта тихая гордость г. Антониади в обращении со мной, тогда ненужным и неизвестным ему человеком? Где эти насмешечки: «пирронизм!» и т. п. Нет и следов этого тона... Конечно, он держит себя хорошо и с достоинством, в тоне его и приемах нет ничего унижительного... Но я ему стал нужен теперь. Завтра, послезавтра у меня опять будет (как было тут с год тому назад) в руках известная ему доля власти. И вот он меня слушается; он просит моих советов, немного даже заигрывает со мной, вопреки своей серьезной и сухой природе. И я рад этому, я торжествую...

И вдруг я вспомнил давишнюю грубую шутку Богатырева («для ваших будущих благ!»), вспомнил мое негодование, мою косвенную ему месть в виде оскорбления, нанесенного любимому им Михалаки, — вспомнил все это и воскликнул мысленно: «Неужели же эти люди, грубо называющие вещи по

имени, так часто бывают правы?..» «Начальническая эксплуатация», — сказал я давеча в негодовании. Я и теперь не хочу этой низости... Не то, не то!.. Однако... Без вины людей, безо всяких происков условия жизни и отношения наши с этим человеком стали незаметно совсем иные, чем были в день первой встречи нашей на берегу Босфора... Тогда он ужасался тому, что я сказал неосторожно: «мне не нравится христианская семья на Востоке», и, видимо, не желал меня видеть у себя в доме. Теперь он зовет меня почаще, читать жене русских поэтов; теперь если он и скажет мне при случае: «пирронизм!», то музыка возгласа будет другая, не ядовитая, а почтительная или ласковая. Чем виноват я, что судьба посылает мне такой случай влиять на его интересы!.. «Des succès, des succès et encore des succès! Бывают и у нас романы, бывает и у нас кой-что!..» Негодяй Михалаки!.. Ненавистный человек!.. Как ты отвратительно, как ты подло умен! С этим-то заключением я уснул в ожидании «будущих благ».

Несколько слов от издателя.

Здесь в рассказе Ладнева перерыв. В рукописи, присланной мне его родными, я нашел после двадцатой главы несколько неоконченных отрывков; иные из них довольно длинны и наполнены повторениями одного и того же и побочными подробностями о политических делах; другие, напротив того, слишком кратки и даже похожи на какой-то конспект.

Например:

(Удача официального обеда. — Паши: Хамид, Ариф, Осман. — Билетики на тарелках с именами. — Виллартон все волнуется; заранее как будто шутя приподымает салфетку, ищет свое имя. — Недоволен; рядом с Канкелларио. — Порядок соблюден Богатыревым строгий; придраться нельзя. — Остеррейхер и Виллартон вице-консулы; но Остеррейхер назначен в Адрианополь раньше. — Де-Шервиль и Булгаридис (эллинский) оба консулы. — Они заняли место по сторонам Хамида (*haut-bout*), двое младших пашей около хозяина дома (*bas-bout*). — Австриец и Виллартон ниже их *vis-à-vis*; а я и Канкелларио ниже де-Шервиля и Булгаридиса. — Краткая и очень

недурная речь Остеррейхера на турецком языке: он поздравляет генерал-губернатора с прибытием в новоучрежденный вилайет. — Сладкие улыбки сердитого австрийца. — Виллартон очень всем недоволен и очень плохо это скрывает; неудовольствие между ним и Богатыревым еще больше усиливается. Главная досада, я думаю, за то, что не он первый, а русский консул догадался оказать новым пашам такое внимание.)

Дальше я нашел особо начатое и неоконченное описание какого-то праздника в Порте.

Вот оно:

«Была иллюминация: на обширном и пустом, как плац-парад, дворе играла военная музыка; толпы народа разной веры теснились во всю длину темной улицы против конака. В приемной паши собирались приглашенные почтенные гости. Сердитый и милый мой чудаки Остеррейхер был в мундире с полковничьими эполетами, с прекрасным густым плюмажем из белых и красных перьев

на треугольной шляпе; он гремел огромными шпорами, рыцарски рассыпаясь пред мадам де-Шервиль, женой французского консула. Сам французский консул был в черном фраке и белом галстуке с красною ленточкой *légion d'honneur* в петлице.

Он, по обыкновению своему довольно ко всему равнодушный, был рассеян и все искал заговорить с кем-нибудь об охоте, своем единственном пристрастии. Виллартон казался печальным настолько, насколько он мог при своем живом и легкомысленном характере.

Когда мы с Богатыревым вошли в приемную, он в углу на диване что-то с жаром, хотя и очень тихо, говорил новому Каймакам-паше-Ариффу.

Они сближались все теснее и теснее...

Увидав нас, Виллартон вскочил и почти подбежал к нам, протягивая нам руки, как искренно обрадованный друг. Впрочем, он и в самом деле, быть может, рад был нас видеть... Ему нужны были прежде всего — борьба, движение, жизнь, и он и врагам политическим был рад, лишь бы они были не скучны.

Я понимал его хорошо с этой стороны, и

этим он мне нравился. Без него было бы скучнее в Адрианополе... Побеждать его было так приятно!..

Однако я тревожился. Все местные приматы, и православные, и католики, приезжали один за другим. Богатые католики и почетные консула[19] мелких держав: Дании, Швейцарии, Бельгии, Голландии уже давно восседали тут с супругами: Петраки Врадетти, Бертоме Гверац-ца, Франсуа Врадетти и Фредерик Гверацца, Фредерик Врадетти, Франсуа Гверацца, Антуан Гверацца и Жорж Врадетти... Их было очень много: все купцы, все родня, все толстые, все скупые, все деятельные орудия римской пропаганды, все враги нам, Православию и грекам, враги, старающиеся всячески завлечь болгар в униатство... все союзники Остеррейхера и де-Шервиля. При виде их Михалаки Канкелларио (он надел сюда сюртук поновее и орден Станислава в петлицу), кажется, забывает на время свою на меня злобу за то, что я так недавно почти назвал его «лакеем» за его неверие; он подходит ко мне близко и, глядя на всю эту западную буржуазию, собравшуюся как-то глупо в одну ку-

чу, шепчет мне... нет, он не шепчет... он шипит, сверкая взорами:

— Вот оно все «мышинное гнездо» вместе! Все понтикопеци[20]! Ах, когда бы дожить до разрешения Восточного вопроса... показали бы им...

— А разве есть средство им отмстить за все их интриги?..

— Есть, есть! — говорит Михалаки. — Только чтобы мы были живы; мы найдем!..

Я едва слушаю его адские речи... В другое время я такие злые речи его любил... Делать зло во имя веры и отчизны противникам своим так приятно... Но теперь мне не до того... Восточный вопрос еще не разрешен; час отмщения не ударил... А Маша и муж ее не едут!..

Вот Хаджи-Петро приехал и другие греки-купцы; вот согнувшись подбегает к генерал-губернатору и касается его полы молодой и богатый болгарский архонт Карагеоргиев, он щеголяет в теплом пальто-сак с бобровым воротником и в феске; вот серьезный и почтенный доктор Ступа со своею худощавою Ступином; она без перчаток, но для парада

надела на султанское празднество какую-то чуть не мужскую двухбортную коротенькую жакеточку из желтоватого трико с большими стеклянными пуговицами...

Приехал и добрый наш Чобан-оглу со своею неприятною докторшей. Он выбрил себе на этот раз подбородок; но на затылке его виден из-под воротника какой-то шнурок: должно быть, обрывок вешалки. Мадам Чобан-оглу закуталась в широкий бурнус из белого кашемира с кистями и задрапировалась вся так странно, что бурнус стал похож спереди на огромную салфетку, которою завесили огромного ребенка, чтоб он не пачкался за обедом... Она мимоходом поглядела на меня сладострастно... Я отвернулся. Чобан-оглу приседает пред пашами и пред г-жой де-Шервиль... Глаза жены его сияют, и лицо ее пылает тщеславным смущением и радостью, когда генерал-губернатор, не вставая с кресла, приветствует их с мужем поклоном с приятною улыбкой...

Антониади все нет!.. А я так старался все эти дни! И так мне было трудно и стыдно... Мне хотелось непременно добиться, чтобы су-

пруги Антониади были сопричислены Хамид-пашой к лику здешних архонтов и чтоб их не забыли пригласить в конак...

Я не хотел говорить об этом своим, ни консулу, ни тем более этому Михалаки. Я старался устроить это чрез греческого консула...

Он известил меня, что желание мое исполнится. Однако их все нет...

Наконец один из греческих купцов сказал мне: „А вот новый член тиджарета со своею коконой!..“

Они вошли...

Откуда она достала эти свежие жонкили? И как хорошо придумала она украсить ими и свою косу черную, и черный барезж платья на груди!..

Музыка на большом дворе все играла... Свет от площадок колебался, и толпа теснилась к решетке...»

Окончания этого отрывка я вовсе не нашел; но на той же странице карандашом написано: Нужно ли это? И больше ничего. Видно по всему, что автор этих воспоминаний стал все больше и больше тяготиться своим

трудом и не знал долго, как от него освободиться. Даже почерк его стал гораздо хуже, чем в начале рассказа. Иные места я совсем не мог разобрать.

Какое-то сомнение, какое-то болезненное чувство, подобное раскаянию или досаде, заметно терзало его...

Потом он, должно быть, или поборол его, или под влиянием новых и случайных впечатлений опять примирился со своими воспоминаниями. Мне так казалось, потому что после перерыва рассказ идет опять довольно правильно.

Догадки мои скоро оправдались: между другими бумагами Ладнева, тоже высланными мне его родными нашел несколько страниц, которые объяснили мне даже и внутренний смысл его колебаний и смущения...

Вот эти страницы:

15 декабря 1879 года.

«Зачем я начал этот несносный, этот мучительный рассказ? Что мне за дело теперь до этой Маши? Что общего между тем Ладневым и мною? Я начал писать это в одну веселую

минуту, когда я осмелился (да, осмелился — несчастный я) подумать на мгновение, что и для меня песня жизни не совсем еще спета.

Тогда, когда на персиковой ветви ворковал мой бедный голубь, у меня было такое множество желаний, я так любил в то время жизнь... Самые страдания мне иногда невыразимо нравились...

А теперь?

Теперь я хочу одного — забвения, покоя. Но какого покоя? Всякий лишний звук, всякое лишнее движение ненавистны мне в иные дни до ужаса.

С людьми я вижусь по нужде. Мне нельзя не видаться с ними! Но даже самые искренние друзья не могут дать мне того, что нужно человеку для того, чтобы быть веселым: телесных сил, любви к борьбе житейской, честолюбия, здоровья, веры в какое-то близкое и привлекательное будущее.

Я стал находить блаженство в равнодушии. Я иногда ищу желаний, я с любопытством иногда спрашиваю себя: „Как это возможно ничего не желать, кроме необходимой пищи, мирного сна и легкой молитвы, и все

без усилия. Не может быть, я верно чего-нибудь желаю! Я только не сознал еще ясно этих новых желаний моих!"

И вот с такими мыслями я недавно стоял в церкви я слушал, крестясь, как дьякон молил Бога о „мире міра", „благорастворении воздуха, об изобилии плодов земных, о властях, об епископе нашем; крестились все, и я крестился... Но я хотел бы отыскать что-нибудь личное, иное, особое, нечто такое, что нужно только мне одному и о чем бы мог вознести совсем особую, горячую, личную молитву сердца. Искал и не нашел. Я видел столько горя и греха от исполнения не только самых страстных, но даже и самых невинных и бескорыстных желаний наших, что не понимаю теперь: зачем искать, хотеть, когда не хочется? Зачем? Я думал об этом; я вспоминал странные события последних лет моей жизни; я видел духовную нить, связующую их, непонятную для глупого практического разума, для веры ясную как день... Я видел эту дивную нить, и страшную, и отрадную. Мысль моя снова овладевала тою тайной жизни, которая открыта только вере, и когда

диакон стал молить о христианской кончине жизни нашей, „безболезненной" и „мирной", и о „добром ответе на суде Христовом", я вдруг почувствовал желание положить глубокий поклон и встал с земли не скоро, и, касаясь лбом пола, думал: „вот этого, конечно, и только этого мне должно желать".

И после этого мне писать об этой Маше! Думать о любви, полуидеальной, почувственной, делать зачем-то усилия ума, чтобы вспомнить, что было прежде и что было после...

Да, если бы вспоминалось всегда ровно и легко, то отчего ж бы не рассказывать? Это правда моей жизни, это было.

Но не всегда вспоминается легко, надо думать, надо мыслить, — взот принуждение, страдание. Зачем страдать? Кому такое страдание полезно? И сам я не знаю в тишине моей медленной, предсмертной тоски, что мне приятнее — все забыть или все вспомнить.

Приятно вспоминать только то, что помнится без усилий, не делать усилий, вот теперь земной рай моей старости вот мой идеал!

И все, что я вижу теперь вокруг себя, и все, что я слышу, и все, чего я желаю, так не похоже на то, что я видел тогда, на то, что я тогда слышал, на то, чего я желал в то время.

Я не вижу перед собой ни фиалок, которые расцветали так рано в сырых расселинах между камнями лестницы на моем дворе; ни садов блестящей шелковицы, ни минаретов, ни старых и прочных каменных мостов с золотыми арабскими надписями над широкою и мутною Марицей. Теперь я вижу перед собой белый снег и высокие сосны... Одно и то же с утра и до вечера. Я вижу их только из окон, и выйти, как другие, не смею и не в силах. На дороге, недалеко от окна моего стоят русские дровни; молодые крестьяне расчищают дорогу, они кладут снег в сани и свозят его со двора. Быть может, и я решусь выйти на воздух. Вот они бросили лопаты и начали играть, бороться и кидать друг в друга снегом. Какие у них здоровые, красные, веселые лица... Как они радостно смеются, как они еще молоды все трое... И как я отвратительно стар, не годами, а душой и силами!

Мне даже ничуть и не завидно им! Я не хо-

чу смеяться.

А это ведь так близко все, это все мое: и двор мой, и снег мой, и лошади эти мои, и молодые люди эти служат мне за мои деньги. И все это мне чуждо... Я рад покою и безмолвию моего теплого и просторного жилища. Безмолвие! беззвучное, бесстрастное, безгласное забвение за морем глубоких снегов.

Я больше ничего не ищу. Все прошлое отравлено; все новое мне чуждо.

И вот, наполовину уже перешедший в невозвратную вечность, я должен писать о таких веселых днях тщеславного ничтожества.

И в самом деле, не правда ли, как это пусто все? Не похожа ли тогдашняя жизнь души моей на букет искусственных цветов, слегка обрызганных духами?

В моей собственной жизни были года и события совсем иного рода, иной силы и значения.

Зачем же я выбрал это время, эту Машу, эту красивую, быть может, но мелкую и бесполезную пустоту?.. Не знаю».

«Моя предсмертная тоска так нестерпима,

умение мое, мое немое отчаяние в иные дни так ужасны, что исцелить их не может ничто...

Я страшусь смерти, а жизнь мою, почти всю проходящую теперь в этом жалком страхе за мое существование, нельзя назвать и жизнью... Высшая радость моя — это тишина и возможность, не заботясь ни о чем, считать с позорною болью испуганного сердца дни, часы, минуты, быть может, которые осталось мне еще дышать!

И этот тесный гроб! и эти гвозди!., и земля!., и боль, и тоска последней борьбы...

Кто, кроме святого человека, забывшего плоть, может помириться с холодным ужасом этого близкого и неизбежного конца?..

А я, как неразумный зверь, держусь изо всех сил моих за мое никому уже не нужное существование... держусь за него без угрызений, без стыда и пред людьми, и пред самим собою. На что мне стыд? На что мне люди, кроме тех людей, которые мне служат и которым, слава Богу, дела нет до моего внутреннего достоинства.

Какой же смысл будет иметь для меня при-

нуждение в труде, подобном этому рассказу?..

Правда, была одна черта в истории моих сношений с этою женщиной, черта дорогая и редкая в жизни... Мы расстались без пресыщения, без горечи, без распрей, без раскаяния, безо всякой примеси того яда, который таится почти всегда на дне благоухающего сосуда восторженной любви...

Других я любил гораздо сильнее, продолжительнее, самоотверженнее, быть может, но ясности и чистоты воспоминаний нет...

И что же? Неужели только моя „честность" или ее »чувство супружеского долга" восторжествовали над легкомысленною страстью? Увы! нет! нет!.. Разгадка здесь иная, — гораздо более таинственная.

И вот я решил не принуждать себя более... Если эта разгадка должна быть обнаружена, если суждено ей быть достоянием праздного любопытства посторонних, то желание продолжать рассказ явится у меня само собою, и я его кончу.

А если нет — нет!»

Этим кончаются отрывки в записках Лад-

нева. «Желание явилось», и рассказ его принял опять довольно правильное течение.

XXI

Я об Велико не забыл. Я долго не писал о нем. Это правда. Писать разом нельзя обо всем том, что в жизни совершается почти в одно и то же время.

Я его видел каждый день и постоянно о нем думал и заботился. Наш *vis-à-vis* — женатый польский офицер, которого так опасался старик Христо, скоро перестал тревожить меня; он выходил, выезжал с женой в карете; до нас он ничуть не касался; Велико, сам испуганный этим соседством, дверь теперь никому не отворял; напротив того, он прятался подальше, как только раздавался стук железного кольца на наших воротах. Кавассы наши, хотя и мусульмане, были очень верны. Посторонние турки у меня бывали редко; на визиты пашей я, как секретарь, претендовать еще не мог; младшие турецкие чиновники и беи, хотя и любили общество русских, но, опасаясь, чтобы свое начальство не подозревало их в чем-нибудь политическом, редко позволяли

себе близкие сношения с иностранными агентами и помощниками их.

Все это было бы не страшно. Но был один человек в Адрианополе, которого посещения стали меня опять в это время тревожить. Это был все тот же неутомимый Вил-лартон; по мере того как Богатырев все больше и больше старался отдалить его от себя, он все чаще и чаще стал звать меня к себе, угощал обедами и хорошим вином, ездил со мной верхом за город и сам заходил ко мне не раз. Вот он-то и казался мне опасным, если не для самого Велико, то для «приличий» нашей службы и для сохранения хороших отношений с местной властью. Велико мы могли бы еще кое-как спасти, но удобно ли будет, например, получать «ноты» о том, что мы скрываем у себя дезертира? И как отнесется посольство наше к нашим действиям, если мы не сумеем быть ловкими? Наше начальство было умно и требовало ума и от нас; этого рода дела надо судить по-спартански: «можно и даже должно иногда украсть, но не должно попадаться». Турки также готовы были нередко смотреть сквозь пальцы на наши проделки («les

intrigues moscovites»), но лишь при условии соблюдения с нашей стороны хоть внешнего уважения к их законным правам. Думая обо всем этом, я ни на минуту не забывал и того, что скоро конец моей безответственности и недалек тот день, в который я провожу Богатырева верхом за город до садов Хадум-Ага и вернусь в город один, хозяином русских дел во Фракии. Я предвидел также, что некоторые крайности, в которые впал недавно Богатырев по отношению к Виллартону, облегчат во многом мою будущую деятельность.

Богатырев, при своей хитрости и здоровой осторожности, увлекся на этот раз и ежедневными удачами своими и каким-то личным капризом жестокости. Он через меру терзал самолюбие английского консула и как бы тешился его несомненными страданиями. Я думаю даже, что впечатлительный Виллартон в течение предшествовавших двух лет политического согласия и тесной личной дружбы отчасти и сердцем по-товарищески привязался к Богатыреву, и тем больше были ему обиды, почти ежедневно наносимые ему нашим упрямым и гордым москвичом.

Я говорю — Богатырев перешел далеко и за черту приличий, и за черту обязательной борьбы. Дальнейшая Жестокость к расстроенному Виллартону была не только не нужна для нашего русского дела, но могла стать и вредною. Мягкие и уступчивые люди становятся иногда ужасны в мести своей, когда видят, что противник рассчитывает на эту слабость. Я хотел побережь для себя или, лучше сказать, для своей службы Виллартона; я находил, что, сохраняя с ним лично хорошие отношения, я могу еще легче действовать против него тайно, при тех хороших помощниках, которых мы имели в городе в среде христианской.

Все это так, но как бы он не дознался при своих слишком частых посещениях, что Велико не просто униат, возвратившийся к Православию (это законно), но что он беглец из полка Садык-паши? Опасения мои почти оправдались.

Особенно один визит английского консула заставил меня задуматься.

Богатырев незадолго пред этим переполнил чашу его терпения. Случилось это вот

как.

От радости, что сам Антониади пригласил меня читать жене своей Жуковского, я медлил. Я все боялся испортить дела свои. Я думал: «и так хорошо! на что торопиться?»

После праздника в Порте, где она повторила, что ждет нас, я собрался. Надо было звать с собой Богатырева. К тому же та часть Жуковского, в которой была «Эолова Арфа», была у него. Я зашел к нему и сказал ему:

— Пойдемте сегодня вечером вместе к Антониади. Он пригласил меня читать жене громко Жуковского!

— Какой дурак, — отвечал Богатырев весело. — Когда я женюсь, я вам не позволю читать моей жене Жуковского. Нет, батюшка, отойди от зла и сотвори благо!..

— Перестаньте, — возразил я, — во-первых, с какой стати вам сравнивать себя с этим скучным Антониади. В вас жена будет, наверное, так влюблена, что тут не только нравственный Жуковский, но и другие поэты ничего не помогут.

Богатырев, несмотря на всю свою выдержку, не мог скрыть своего удовольствия, услы-

хав такую лестную правду (это и оказалось правдой со временем: жена без ума любила его). Он покраснел и даже сконфузился, опустил глаза и стал рассматривать свои руки. Потом, совладев со своим минутным смущением, он ужасно лукаво улыбнулся и сказал:

— *Voyons — trêve de flatteries! Vous voulez me faire servir de paravent... Eh bien! soit... Только на что это вы старину такую ей тащите? Начал было я сам «Унди́ну». Знаете, скучновато... Вы бы лучше ей какого-нибудь Павла Петухова снесли. И муж бы послушал Поль-де-Кока... А то что ж он поймет! Он заснет, обидится и не будет вас больше пускать к себе... Я в ваших интересах говорю.*

— Он жил в Одессе и понимает немного по-русски.

— Да что ж, что понимает! — возразил Богатырев. — Что-нибудь о «пшенице», «тащи мешки» какие-нибудь... А вы «Унди́ну» ему...

Однако я стоял за Жуковского, и Богатырев, который все это говорил нарочно, потому что был в этот день в духе, кликнул своего Ивана, настоящего орловского камердинера, и сказал ему, вставая:

— Принеси мне перчатки и шапку и вели кавассу сейчас зажечь фонарь... мы пойдем...

Итак, мы собрались идти. Я заметил, что Богатырев искал что-то на столе своем, нашел и захватил с собою это что-то, это нечто, которое он хотел от меня скрыть... Повернувшись ко мне спиной, он поспешил положить в боковой карман какую-то небольшую вещь и потом, обращаясь ко мне с самым равнодушным видом, воскликнул: «Пойдем делить досуг печальной нашей крали...»

Я не отвечал на эту новую насмешку над Машей, и мы, взяв Жуковского, кавасса и фонарь, пошли в Кастро, не спеша, по темным улицам, на которых давно уже ходили, постукивая толстыми палками по мостовой, безмолвные и закутанные пазванты[21].

Было не очень холодно, шел мелкий снежок; под ногами он таял и обращался в густую грязь. Мы долго шли молча, выбирая где посуше и переступая с камня на камень, в местах почти безлюдных, все между лавок, запертых уже с раннего вечера.

Из-под ног наших беспрестанно вставали худые, никому не принадлежащие уличные

собаки, кротко уступая нам дорогу. В одном месте мы чуть-чуть было не наступили на целое гнездо щенят, для которых чья-то сострадательная рука постелила соломки около столба.

Я любил все это: и эту грязь, и безмолвие, и отсутствие газа, карет, и бедных собак, этих нищих духом «о Магомете»... и запертые лавки, и внезапный звонкий стук сторожевой дубины о камни мостовой... Но Богатырев сердился, переступая с камня на камень через лужи и снег.

— Не дождусь, когда я уеду из этой трущобы! — говорил он угрюмо.

Я не отвечал, но думал: «И я не дождусь, чтобы ты уехал! Тогда я буду всему здесь сам хозяин!..»

Наконец мы подошли к их двери, и кавасс наш застучал кольцом...

Снизу из сеней мы услышали громкий и, казалось, нам обоим незнакомый голос...

— Кто это у вас наверху? — спросил с недовольным видом Богатырев у служанки.

— Это г. Михалаки, ваш драгоман, привел какого-то старика, который все кричит и кри-

чит, — отвечала Елена, — кричит и потом, как кошка, делает вот так: пффф!..

Елена, очень забавно отскочив от нас, представила лицом и руками испуганную и рассерженную кошку... Я тотчас же догадался и сказал:

— А, это наш русский подданный, философ Маджараки... это он...

Я любил этого оригинального старика и обрадовался этой неожиданной встрече; я сообразил кстати, что они с Михалаки могут занять Антониади и Богатырева и этим

облегчат мне возможность отдельной беседы Машей. А читать можно и в другой раз.

Маджараки, уроженец и житель уездного городка Кырк-Килисси и русский подданный, имел тяжёлое дело в Адрианополе с одним армянином, турецким подданным. Антониади, новый член торгового суда, должен был на днях принять участие в обсуждении этого дела, и вечно деятельный Михалаки Канкеларио, безо всякого даже побуждения со стороны консула, взял на себя труд привести Маджараки к Антониади в дом, чтобы подсудимый мог как можно лучше изложить свою

тяжбу еще неопытному в местных делах, но испытанному жизнью и коммерческою борьбой судьбе. К тому времени, как нам прийти, разговор о тяжбе уже кончился. Михалаки играл в шахматы с Антониади, Маша сидела на диване с работой; около нее была m-me Игнатович, а низенький и толстый Маджараки стоял посреди залы, опершись правою рукой на спинку стула и, потрясая от времени до времени левою, говорил дамам так, с исступлением страсти и фанатизма:

— Вы, вы, жительницы больших городов... вы можете позволять себе европейскую роскошь... Но мои дочери? мои дочери должны носить толстые красные болгарские фартуки! Они метут, работают, они едят руками... Да, моя покойная мать тоже ела руками, и сок!., сок от кушанья тек по груди ее... сок этот тек (повторял он с любовью и восторгом, качая умиленно седою головой)... да, сок этот тек, но мать моя была здорова, красива и сильна.

Мы прервали его речь...

Он умолк мгновенно, увидав консула. Все поспешно встали, хозяин дома встретил нас у дверей залы, Маша тоже встала с дивана и

сделала несколько шагов нам навстречу. Маджараки отошел в сторону, вытянулся и притворился робким и скромным. (Я говорю притворился, потому что он никого и ничего не боялся, своею смелостью с турками довел даже себя до цепей и суда, после чего и Добыл себе в Одессе русский паспорт.)

Богатырев, поздоровавшись с хозяевами дома, едва повел головой в сторону Маджараки и не удостоил ответить даже приветливым взглядом на его почтительный поклон. Он находил старика несносным, да и вообще на всех здешних людей смотрел только с точки зрения политических интересов России и выгод собственной службы. Сами по себе они все для него не существовали, и он не считал их достойными ни малейшего внимания. Мне же, напротив того, случилось с этим Маджараки проводить целые вечера и до усталости слушать его рассуждения о философии, богословии и грамматике. Я находил его замечательным человеком и часто изумлялся его метафизическим способностям, развившимся так сильно и независимо в таком удалении от главных центров научной и умственной жизни.

ни.

Я предоставил Богатыреву заняться с Машей, надеясь вознаграждать себя позднее, и, взяв дружески за руку бедного и никем не понятого мыслителя, усадил его около себя и спросил, чем он теперь занимается.

Маджараки взглянул на меня весело, плутовски и сказал:

— Сравнительным изучением глаголов в эллинском и турецком языках...

— Простите меня, — перебил я, — я уже говорил вам прежде, что философия и богословие меня больше интересуют, чем грамматика. Ваши труды по метафизическим вопросам гораздо мне понятнее, чем эти глаголы.

— Прошу вас, г. Ладнев, извинить меня, но я позволю себе заметить, что вы не совсем правы... — воскликнул Маджараки значительно и прибавил по-французски: — Il n'y avait pas de grand philosophe, qui ne fut grand grammairien: et il n'y avait pas de grand grammairien, qui ne fut grand philosophe.

Он произносил так смешно, что Богатырев и все присутствующие мужчины переглянулись с улыбкой и приостановили свою бесе-

ду, прислушиваясь к нашей. Маджараки, не замечая ничего, продолжал с жаром:

— Филологическая идея поддерживает во мне метафизическую, метафизическая родит грамматическую. О! Это наслаждение, небесное наслаждение — следить за проявлением божественного духа во всех феноменах человеческого ума. Я не оставляю и метафизику. Так, например, недавно я убедился, что троица, или тройственность, суть действительно основание всему, и таким образом самый основной и священный догмат Православия находит для себя полнейшее оправдание и в метафизических законах бытия и мышления... Извольте, вникните (тут Маджараки придал своему лицу выражение особенно задумчивое и глубокое, даже с небольшим оттенком какого-то испуга, и, собрав все пальцы своей руки кучкой, трес ими пред глазами и лбом своим): вникните: Суть... Суть всего... сущность... сущий... «То он» (Тооон)... (Потом лицо его приняло более ожесточенный вид, и он начал быстро и долго стучать ребром руки по столу.)

— Энтелехия... Бесконечное проявление,

безначальное и бесконечное рождение, вечное действие, неразрывное с этою сущностью... (Тук, тук, тук... Тук, тук, тук!..) Энтелехия!..

Наконец, выразив и глазами, и извилистым движением руками, и всеми физическими средствами своими нечто вроде гибкости и проницательности, Маджараки докончил:

— Способ действия... Тропос... Понимаете, — даже пространства заключить или замкнуть нельзя без трех линий; треугольник — это первая фигура геометрии...

Я слышал, что Маша вполголоса говорила Богатыреву и мужу:

— Il est charmant, ce vieux... Ecoutez, il faut que vous lui fassiez absolument gagner son procès au tribunal de commerce.

— Он несносен! — возразил глухим голосом консул.

— Я не согласна, он премилый, — повторила Маша и потом обратилась к самому старику по-гречески: «Кир Маджараки, отчего вы отдаете такое предпочтение одному г. Ладневу? Отчего вы нас не удостоиваете вашей интересной беседы? Вы нас считаете недостой-

НЫМИ?»

Наивный старик встал почтительно и ответил с большим достоинством:

— Кирия Мариго! Я уже настолько опытен, чтобы понимать, до чего вкусы и склонности людей высокого образования могут быть различны, и не желаю никому быть в тягость. Вот и г. Ладнев удостоивает внимания мои скромные метафизические труды и отвращается от моих же грамматических изысканий.

— Нет, нет! — сказала Маша, — садитесь ближе, мы все хотим вас слушать.

Богатырев нахмурился; а я был очень рад, что она так мило обращалась с оригиналом этим, которого я предпочитал другим здешним жителям. И в этом поступке ее я увидел желание показать, что она во всем, во всем сочувствует мне и не выдает меня даже и в мелочах.

Она придвинула кресло к дивану и пригласила старика сесть к себе поближе.

Богатырев, избалованный в Адрианополе своею властью и влиянием, покраснел и прошептал по-русски: «Уйду сейчас в шахматы играть. Право, уйду... Мсье Михалаки, не хо-

тите ли партию?..»

Маджараки сиял и собирался, видимо, начать какую-то речь, как вдруг раздался внизу стук в двери, и немного спустя Елена почти вбежала с возгласом: «Английский консул!»

Богатырев взглянул на меня и пожал плечами.

Виллартон был уже в дверях залы.

XXII

Сначала все пошло хорошо.

Мадам Антониади была настоящая светская женщина в том отношении, что, раз приняв в дом свой кого бы то ни было, она была со всеми одинаково любезна и старалась даже скорее низших заметно возвысить, боясь обидеть их.

Она удержала старика Маджараки около себя; Виллартона пригласила сесть с другой стороны, тоже поближе. Мы с Богатыревым сидели напротив за круглым столом. Михалаки и муж ее около нас. Беседа стала скоро оживленною и общею.

Антониади принес из другой комнаты какой-то французский журнал с карикатурами,

и все стали смотреть их.

Особенно заняли всех рисунки разных французских и прусских военных чинов и полков, только что отличившихся под Кениггрецом. На каждой картинке было по французу и по пруссаку. Например, французский гусар, стройный, красивый, ловкий, самоуверенный, и гусар прусский, среднего роста, широкий, нескладный, в огромной меховой шапке, надвинутой на брови. Французский маршал, тоже стройный, элегантный, в треугольной шляпе с плюмажем, в расшитом мундире и весь окруженный сиянием прежней славы, рядом с ним стоит не развязно и вытянув руки прусский генерал, в простом будничном военном кафтане, в каске без султана, лица из-под козырька почти не видно, и на каске очки учености...

Изображения французов сопровождались длинными подписями любезно-шутливыми, самыми лестными воспоминаниями о великих удачах и подвигах прошедшего; у пруссаков таких воспоминаний не было; везде были вместо них поставлены точки с повторением одной и той же насмешки: «...mais solide!»

(...зато надежен!)

До Седана и Меца было еще далеко, и никто их тогда еще предвидеть не мог. Похваляюсь, однако, я полупредчувствовал их и сказал:

— Как бы господам французам не пришлось горько каяться в этих насмешках!.. История любит новое. И я, признаюсь, очень был бы рад, если б этой передовой нации дали добрый урок. Они забыли Росбах...

Солидному Антониади тоже это хвастовство не очень нравилось, и он заметил:

— Я согласен с вами. Разве дурное качество — солидность в войске? Это самое лучшее, как и во всем.

Виллартон просто смеялся от души, разглядывая эти рисунки, и обратил внимание только на то, что французы представлены здесь слишком красивыми.

— Я был с ними вместе под Севастополем, — сказал он. — Они вообще скорее некрасивы.

— Вы избалованы красотой и благородным видом ваших английских войск, оттого вы строги, — заметил я, желая ему польстить

(все приготавливая себе удобства в близком будущем). — Я тоже служил тогда в Крыму и после заключения мира восхищался вашими гайлендерами в красных мундирах.

Богатырев, выросший в Москве, на французских фарсах и французских вкусах самого легкомысленного стиля, стал защищать все французское и кончил тем, что достал из кармана ту книжку, которую он пред уходом из дома так таинственно положил туда. Это была довольно забавная глупость: «История одной пуговицы, пропавшей с мундира немецкого солдата». Опять насмешки над немецкими формальностями, над немецким патриотизмом и т. п. Автор, вероятно настоящий француз, придумал себе русский псевдоним — Pïotre Ariamoff.

В небольшом немецком городке у солдата пропадает с мундира пуговица. Все начальство приходит в волнение; пишется множество донесений, отношений, предписаний, при этом жизнь предъявляет свои требования, и кто-то запел патриотическую германскую песню, которая вся состояла из повторения двух стихов:

*Bois de la bière,
Bonne, bonne Lisette!
Bois de la bière!*

*Bois de la bière,
Bonne, bonne Lisette!
Bois de la bière!*

*Bois de la bière,
Bonne, bonne Lisette!
Bois de la bière!*

По-немецки:

*Trinck Bier,
Liebe, liebe Lischen!
Trinck Bier!*

*Trinck Bier,
Liebe, liebe Lischen!
Trinck Bier!*

И больше ничего!..

Ни один из жителей города не может устоять против восхитительного действия этой национальной поэзии; один за другим немцы и немки начинают подтягивать запевшему, другие соседи подхватывают, восторг растет, голоса все громче, пение все исступленнее, и

скоро весь город становится огромным хором, который гремит:

*Trinck Bier,
Liebe, liebe Lischen!
Trinck Bier...*

Все дела забыты, даже и тревога о пуговице...

Какой-то часовой, и тот даже забывает в этот волшебный миг строгость своего долга и с увлечением присоединяется к хору сограждан.

Богатырев читал хорошо; он кончил маленькую книжку при дружном хохоте всего общества. Только Маджараки, видимо, улыбался из вежливости: он ничего не понял. Он изо всего французского языка знал только наизусть ту Фразу о грамматиках и философах, которую давеча он так

ужасно произнес. Вспомнив об этом, Маша обратилась к нему и сказала:

— Французы очень остроумны, вы знаете...

— Да, — отвечал Маджараки значительно, — особенно Фонтенель. Я читал его в переводе. Он удивительно тонок, например, гово-

ря о том, что с разных небесных тел небо может казаться обитателям этих тел совсем не того цвета, каким представляется оно нам по причине другой окраски атмосферы... И, упоминая о каком-то цвете... положим, розовом... не помню... говорит так тонко, обращаясь к знатной госпоже, своей читательнице: «Я угадываю, сударыня, что вы теперь думаете: как хорошо бы сделать такое платье?»

— Это очень мило, прелестно! — сказала Маша. Злой Михалаки, знавший уже наизусть все ресурсы

своего старого соотечественника, придумал между тем нарочно нечто такое, что могло быть не совсем приятно английскому консулу.

Он сказал хозяйке дома с самым невозмутимым и невинным видом:

— У г. Маджараки удивительно то, что он воздаст каждому должное. Он очень уважает французскую словесность, но когда ему, вследствие неприятностей с турками, посоветовали принять французское подданство, он отверг эту мысль с негодованием, — поехал в Одессу и сказал: «Не моя была воля родитьсяся

подданным мусульманского государства, но по свободному выбору я могу подчиниться только законам православной Державы...» Г. Маджараки тверд как железо в своих убеждениях...

— Это прекрасно! — сказала Маша.

Виллартон не остерегся и заметил насмешливо и фамильярно:

— И выгодно... Возвратиться опять в государство мусульманское и пользоваться в нем всеми удобствами русской протекции...

Маджараки вспыхнул, и глаза его засверкали; он задрожал:

— Эти руки!.. — воскликнул он, показывая свои руки, — эти руки были в турецких колодках... Тяжелые цепи за одно только подозрение... обременяли это старое тело... И если я жив, если меня не кинули в Марицу с камнем на шее, если меня не убили, не повесили на суку адрианопольского дерева, то этим я обязан православной русской крови, которая проливалась за христиан Востока, со времен Великой Екатерины и до последней несчастной войны против Франции, в союзе с двумя мусульманскими Державами...

Маджараки был уже на ногах... он опять фыркнул: «Пффф! Пффф!», выходя из себя, и сжимал кулаки.

Богатырев вмешался; он догадывался, что хочет сказать исступленный философ, и спросил:

— Какие же две мусульманские Державы?.. Турция одна...

Маджараки, забыв всю свою формальную почтительность, взглянул на Богатырева с высокомерною улыбкой, как на бессмысленного ребенка, даже помолчал почти с презрением и наконец промолвил, небрежно улыбувшись:

— Самая великая и вредная истинному Христианству мусульманская Держава в мире — это Великобритания... В числе ее подданных...

Хозяин встревожился и поспешил перебить его:

— Вы, может быть, не знаете, кто перед вами, — это г. Виллартон, английский консул...

Маджараки (который знал это очень хорошо) притворился и переменял тон.

— Прошу его сиятельство извинить меня, я

не имел чести До сих пор встречаться, — сказал он плутовато и смиренно.

Виллартон покраснел. Он, видимо, был недоволен, но не желая, конечно, в этом сознаться, воскликнул:

— О, ничего, ничего! Продолжайте, продолжайте!.. Это разговор частный... Меня очень интересует ваше мнение... А что вы думаете, например, о будущности Босфора или Константинополя?..

Это было с его стороны довольно ловко придумано, чтобы затруднить всех нас. Мы все замерли на минуту... ждали, что скажет старик.

Маджараки немного поколебался, немного подрожал в каком-то страстном и сдержанном волнении и наконец ответил так, обращаясь прямо к Виллартону:

— Насчет Босфора и прекрасной столицы, украшающей берега его, я, ваше сиятельство, должен ответить вам так: тот будет прочен на берегах этих и тот будет всем жителям этих стран приятен, кто на всякий западный товар наложит в Дарданеллах сто на сто... Торговые и промышленные западные Державы погуби-

ли в Турции всякую промышленность и развратили нас ложною роскошью... Если султан в силах наложить эти сто на сто, да здравствует султан!.. Пффф! Пффф!..

Отвечено было прилично, оригинально и умно; мы все, кроме Виллартона, были довольны...

Вскоре после этого Маджараки простился и ушел. А немного погодя собрались и мы идти домой. Маша нашла случай сказать мне тихо:

— Нам не удалось почитать Жуковского. Тем лучше. Приходите утром: мы будем одни...

Потом она посмотрела на меня внимательно, показала рукой на мой лоб и заметила:

— Вы хорошеете все... Какое у вас сегодня милое выражение — доброе, ясное такое... «L'amour est un prisme que nous portons au front et qui illumine nos entrailles»... Откуда это?

— Не помню...

— Поищите дома. У вас эта книга есть... — L'amour pour qui? — спросил я...

— Pour madame Чобан-оглу, конечно... у вас

такой гадкий вкус...

Мы простились и вышли вчетвером: Богатырев, Вил-лартон, Михалаки и я. Кавасс нес впереди фонарь. Консула шли рядом и молча за ним. Мы с Михалаки сзади. Вдруг из темноты соседнего переулка послышался топот бегущих толпой людей и раздался отчаянный вопль турецких пожарных: «Янгын вар!»[22]

Мы все приостановились, но Богатырей грубо сказал кавассу: «иди прямо! что ты стоишь!..»

И мы опять пошли...

Пожарные, занятые своим делом, бежали прямо на нас. Они несли на себе тяжелую трубу и продолжали кричать, чтобы бедствие не застало спящих обывателей врасплох и чтобы встречные на улице люди сторонились заранее и не задерживали бы их.

Они были уже близко, когда Богатырев, вдруг остановившись, сорвал черный кожаный чехол со своей белой фуражки, чтоб она была виднее в темноте, и закричал еще громче их своим сильным голосом:

— Куда вы, ослы? Стой... не видите вы, кто перед вами!.. Негодяи! Али! Вынь ятаган — ру-

би их!..

Али, не колеблясь, мгновенно правой рукой извлек ятаган, а левой почти бросил фонарь на землю и сделал шаг вперед, приготовляясь беспрекословно кинуться на целую толпу. Пожарные тотчас же остановились, расступились, прижались к домам молча и почтительно, и мы прошли...

Я был возмущен этим поступком консула, этою ненужною несправедливостью, этим бесполезным эффектом.

Я всегда любил то, что нынче выдумали звать самодурством; особенно любил я самодурство национальное, во имя идеи; но это было глупо, неуместно, даже низко, по-моему... О! если б эти пожарные были «честные» граждане — республиканцы Цюриха и Берна или самоуверенные подданные узурпатора с распомаженными усами, которого куаферы в кепи тогда еще не были так восхитительно проучены при Вёрте и Седане... Тогда я бы не сказал ни слова... Но эти бедные турки!.. Они ведь спешили на доброе дело! Довольно с нас и того, что мы обязаны делать против них для явной политической пользы единоверцев на-

ших...

«Ce n'est même pas de bon goût!» — думал я про себя с негодованием...

Михалаки, напротив того, и этому был рад — позднее он «шипел» мне, что все это Богатырев делал хорошо: надо показать этому Виллартону, что энергический русский агент имеет право все делать здесь безнаказанно...

Если я, русский, никогда с этим согласиться не мог, то какое же бешенство должно было обуревать в эту минуту душу английского консула, рожденного и выросшего в Турции?!

Вероятно, от избытка гнева Виллартон на этот раз сдержался и не сказал ни слова.

Вот после этого-то случая он вовсе перестал ходить в наше консульство, и даже от Антониади стал все больше и больше удаляться, стал суше обращаться с ним при встречах и ни разу не был у него в доме в течение целого месяца...

Встревоженный этим хиосский купец оказывал ему сначала всякого рода внимание, конечно — «в пределах своего личного достоинства» (Антониади любил так выражаться); но Виллартон не уступал, и Антониади, скре-

пя сердце, должен был теперь понять, что он надолго, если не навсегда попался в русские «сети». Надо было держаться еще крепче за русских, когда английский консул сам, безо всякой вины с его стороны, не хочет его больше знать!..

Для меня лично обстоятельства слагались все выгоднее и выгоднее... Удаляясь от Богатырева и Антониади, Виллартон стал искать сближения со мною, посещения его запросто день ото дня учащались...

Я был очень рад и беспокоился только о том, чтобы Велико не попадался ему без крайности на глаза...

Я сказал, почему я этого не мог желать.

XXIII

Однажды я сидел на верхней галерее моего милого пестрого жилища и наслаждался...

Велико, веселый и нарядный, стоял предо мной с подносом, а я курил наргиле, пил кофе и расспрашивал его кой о чем деревенском: как одеваются у них в Сазлы-Дере женщины, что носят они на головах, белые платки или что-то вроде фесок с повязками, как я видел в

иных местах, какого цвета фартуки?.. В это время в Москве готовилась этнографическая выставка и ждали славян на съезд общения «любви»... Богатырева просили распорядители выставки доставить одежды и утварь, но он, ко всему подобному, прямо не касавшемуся службы, довольно равнодушный, принял эту просьбу чуть не насмешливо и предложил мне и ответ написать, и сведения собрать о том, какие нужны одежды и что будет это стоить. Я взялся за это дело с величайшим рвением и думал, что сделаю пользу и заслужу благодарность... Мы так занялись с Велико нашею беседой, что и не заметили, как Виллартон вдруг вошел в незапертую на этот раз дверь и громко спросил уже на лестнице: «эффенди дома?» И вслед за тем показался уже и сам в дверях галереи... Велико не тронулся с места; только покраснел немного...

Виллартон тотчас же, после первых приветствий, сказал мне по-турецки (вероятно, нарочно, чтобы Велико понял его).

— У вас новый служитель?

— Да! — сказал я, — болгарин...

— Хороший мальчик! Как тебя, мальчик,

зовут? — спросил он...

Виллартон, глядя на Велико, старался сделать выпуклые глаза свои самыми... самыми... не понимаю даже какими... или очень равнодушными, или ужасно многозначительными. Я знал очень хорошо эти выпуклые глаза его. О! как я их помню и теперь... я умел по привычке читать в них многое, но изобразить словами прочитанное не могу хорошо...

— Как тебя, мальчик, зовут?

Не правда ли, это очень просто... Как тебя, мальчик, зовут? Но глаза при этом становились многозначительны: они делались вдруг равнодушными до уныния, до печали... Да! до печали... Я это хорошо сказал, — они делались равнодушными до печали. Это верно. Но что значило это равнодушие? Было ли это неудачное желание скрыть какое-нибудь злоумышленное любопытство... Или, напротив того, очень тонкая угроза?

«Вы думаете, гг. русские, что я очень весел, жив, откровенен и даже как будто ветрен иногда и неосторожен? Да, это мой характер, правда... Но я докажу вам, что бороться с вами я умею и буду мстить вам на каждом шагу за

ваши частые победы надо мною в здешних делах...»

— Как тебя, мальчик, зовут?

У Велико глаза потускнели; но он ответил твердо и почтительно: «Велико, эффендим».

— Гайдук Велико! (Разбойник Велико), — воскликнул англичанин, раскидываясь с хохотом на диване. — Ты знаешь песню: «Гайдук Велико»?

— Знаю, — чуть-чуть краснея, отвечал мальчик.

— А это знаешь:

Покарало и малко момче, Малко момче сиво стадо
Из корня султанова Султанова султан-бейска.
Хора думат малко момче...[23]

— Нет, этого не слыхал.

— А из какой ты деревни?..

— Из села Сазлы-Дере.

Опять унылое равнодушие на бородатом и веселом лице мистера Виллартона.

— Сазлы-Дере? Сазлы-Дере? Где это Сазлы-Дере?

— Недалеко, часа три отсюда, — вмешиваюсь я, чтоб облегчить душу бедному Велико, и потом говорю ему:

— Подай господину консулу кофе...

Я говорю это в надежде, что инквизиционные вопросы прекратятся. Пока Велико сходит за кофе, английский консул, может, займется чем-нибудь другим... Я постараюсь даже занять его. Начну жаловаться нарочно на злоупотребления турецких чиновников. Он будет спорить, кричать, вспрыгнет с дивана и наконец воскликнет: «Я вас прошу не оскорблять меня! Турция — это моя отчизна... Я здесь родился, здесь вырос и люблю Турцию больше, чем самую Англию...» Я немного уступлю, и мы за это не поссоримся. Или скажу ему, что прочел в русских газетах, какое множество униатов в Польше перешло в Православие, а он тоже вскочит и вскрикнет: «Ah, bah! Ses uniates!.. Nous en savons quelque chose! Им русские солдаты штыками раскрывают зубы для того, чтобы поп мог насильно влить им причастие. Вот ваша пропаганда!.. Вот ваша свобода!..» И как он покраснеет, как он ужасно раскроет глаза свои! Я уже видел все это, все это знаю...

Мне нужно теперь, чтоб он только забыл о Велико... А если он рассердится за униатов и

турок и еще упорнее будет стараться узнать, что это у меня за болгарин и откуда он? Нет, я не буду бранить турок... Я буду бранить французов, это ему будет приятно, и я буду искреннее. Я турок предпочитаю французам. Французы выдумали демократический прогресс. На этом мы с Виллартоном скорей сойдемся... Или начну я хвалить те английские обычаи и вкусы, которые мне знакомы: святки, бокс, пунцовые мундиры; он это тоже любит. И в этом я буду естественен. Англичане, даже и враждующие против нас, мне все-таки очень нравятся; или еще лучше, буду турок хвалить?.. Итак, хвалю турок... хвалю их от души...

— Вчера (так я приступаю к моей «политике»), — я был в Эски-Сарае и вспомнил вас, г. Виллартон; в сущности я с вами во многом согласен, если хотите... Иду я по берегу реки. Гуляло тут и кроме меня много народа. Вижу, пожилой, такой почтенный турок разостлал под деревом коврик и молится при всех... Он никого знать не хочет, он кладет земные поклоны свои и не обращает внимания на то, что мимо проходят насмешники или нена-

вистники его веры... Вот это я чрезвычайно уважаю в турках.

Я не ошибся в расчете. Виллартон был так тронут моим замечанием, что вскочил с дивана и воскликнул:

— Вы знаете эти стихи? Последние слова взяты из Корана:

«Какая рука и какой язык могут заплатить долг благодарности Богу?» И точно, Бог сказал: «Воздайте мне благодарность, о, потомки Давида! ибо только немногие из слуг моих умеют быть благодарными».

И глаза его (я заметил это тотчас же) немного покраснели от навернувшихся на них мгновенных слез... Выпрямившись предо мною, Виллартон повторил еще раз... И хотя эта цитата была не особенно кстати и не слишком выразительна, я ее нашел прекрасною, а мои дипломатические действия еще во сто раз прекраснее... Однако кофе не несут!.. Придет Велико, Виллартон опять начнет свой допрос...

Вот-вот шаги... несут кофе... Боже мой... Однако как хитры эти единоверцы наши! Я сказал этому юноше, болгарину, почти отроку:

«Велико, подай кофе г. консулу!» Он должен бы был исполнить буквально слова мои, сам подать ему, однако он предпочел прислать с кофеем кавас-са-турка, а сам скрылся.. А может быть, это, напротив того, глупость?.. Подозрительно... Но Виллартон стал спокойно пить кофе и о Велико не сказал ни слова. Тогда я спросил у кавасса: ;

— Где же Велико?.. Отчего не он подает кофе?

— Он подметает теперь вашу комнату...

— Ну, хорошо... Только скажи ему, все-таки, что он глуп: кофе подавать его дело, а не твое...

Между тем оживленное, подвижное лицо Виллартона вдруг принимает особенное какое-то выражение, почти победное.

— Я все вспоминал, где я его видел прежде; я вспоминал все время, где я заметил его красоту?., в числе солдат Садык-паши или в униатской церкви?.. И вспомнил, что это было в униатской церкви... Я заходил туда раз из любопытства... Он был там кандильянафтом[24]. А насчет казацких этих полков, может быть, я ошибаюсь. Как будто мне кажется, что я ви-

дел его где-то в мундире. Но это, может быть, и ошибка. А в униатской церкви в Киречь-Хане я его видел — это верно. На нем была эта самая малиновая аба[25].

Мало-помалу лицо Виллартона во время этих слов опять доходило до выражения того многозначительного, притворного уныния, которое мне так было знакомо, и он кончил свою значительную речь таким простым и, по-видимому, небрежным вопросом:

— Он недавно, значит, оставил униатство, он перешел опять в ортодоксию?..

— Да, недавно, — отвечаю я с улыбкой, которую стараюсь сделать настолько же двусмысленною, насколько загадочно его «уныние». — Да, он перешел к нам. Мы раскрыли ему зубы русским штыком, как вы говорите.

— Не золотым ли ключом? — отшучивается Виллартон...

— Чем придется, — отвечаю я. — С такими искусными соперниками на Востоке, какими мы окружены... что делать... Например, хотя бы вы. (Я знаю, что Виллартон, который год или два тому назад шагу не давал сделать спокойно католической пропаганде, теперь

старается помогать даже и ей, с досады на наши последние удачи, по злобе на русскую препотенцию и с отчаяния, что наш ловкий Богатырев поставил его совершенно в изолированное положение.) — Из одного ли любопытства вы посещаете униатские храмы?

Виллартон, который долго оставаться в одной позе не мог никогда, давно уже ходил по комнате, высоко поднимая носки при каждом шаге, как бы маршируя, и весело притопывая каждый раз. Он вдруг остановился в удивлении и, опустившись близко около меня на диване, оборотился ко мне лицом и начал говорить дружески, так доверительно и так душевно:

— Escoutez! Я самый удобный и простой коллега. Со мной можно жить. Я буду прям. Я знаю, вы подозреваете, что я потворствую католикам?

Я хотел протестовать, но Виллартон, возвышая голос, продолжал убедительно:

— Я знаю, знаю... Но, если б и так (хоть это не совсем так), кто ж виноват? Ваш консул очень плохой дипломат. Он вооружил против себя всех; все недовольны им...

Я не хотел слушать и делал нетерпеливые движения.

— Он не только для меня консул, он друг мой... — возражал я.

— Оттого, что он друг, я и советую вам привлечь его внимание на те невыгодные условия, в которые он ставит русскую политику во Фракии. Он еще молод и очень горд; он увлечен удачами. Я отдаю справедливость его уму; он человек лучшего общества, он вполне джентльмен... Но... все-таки, я должен сказать вам правду. Поверьте, я знаю гораздо больше о его действиях, чем вы думаете... Посоветуйте ему... прошу вас... Англия и Россия — Державы могучие, большие, обе консервативные; они могли бы жить так спокойно друг около друга и здесь могли бы идти рука об руку во всем, или почти во всем. Да, впрочем, в высших сферах власти так и делают; но это личное честолюбие местных агентов — большое зло, и оно распаляет вражду. А мы были так дружны с Богатыревым, и я с моей стороны старался всячески помогать ему. Как мы тогда хорошо проводили время! Знаете, я вспоминаю при этом фразу вашего князя Горчако-

ва в его ноте по поводу северо-американских дел. Он там говорит, кажется, так про Штаты Севера и Юга: «Соединенные, они дополняют друг друга; разделенные, они парализуют»... кажется, так, в этом роде... Вот так и мы теперь с Богатыревым: прежде мы оба были сильны; теперь мы оба стеснены. Видите, как я прям.

Опять у него покраснели глаза. Он в самом деле был прям на этот раз, и с ним это случилось нередко... Он сильно увлекался своими чувствами; он был агент находчивый, изобретательный и деятельный донельзя; но он не мог быть политиком осторожным и холодным; он беспрестанно переходил за черту умеренности и делал ошибки, хотя и умел скоро поправлять их разными ухищрениями и изворотами.

На все это я ответил ему так:

— До меня, признаюсь, все, что вы говорите, не касается прямо, и не мое дело в это входить; вы поговорили бы сами с господином Богатыревым.

Англичанин выпрямился и сухо возразил:

— Нет, этому противится мое достоинство!

Это невозможно!

Сказав это, он взял шляпу и очень весело и мило пригласив меня к себе обедать на следующий день запросто, пожал мне руку с дружескою выразительностью и ушел или, лучше сказать, бегом сбежал с моей лестницы. Я не успел и проводить его донизу, как следовало по обычаю местной учтивости. Немного погодя я узнал, что, сойдя так быстро по лестнице, он спросил у кавасса: «где Велико?» И, получив ответ, что на кухне, мимоходом заглянул туда, и когда мальчик, смущенный, вскочил перед ним, он со смехом сказал ему по-турецки: «А я тебя ведь знаю. Ты кандилья-нафтом был у франков в церкви. Я узнал тебя!» Велико (рассказывали люди) побледнел и не успел еще ответить, как Виллартон уже опять принял серьезный вид и, поглаживая важно свою длинную бороду, прибавил патриархально и все по-турецки:

— Это ты, дитя мое, очень хорошо сделал, что оставил унию. Не надо хорошему человеку менять веру отцов. Ты Должен быть «ортодокс-булгар», а не «унит»... Э! прощай... Будь здоров!.. — и ушел, щелкая бичом.

Узнав эти последние подробности от моих людей, я тотчас пошел к Богатыреву, чтобы посоветоваться с ним.

Примечания

Датируется 1880-1882 гг. Впервые "Русский Вестник", 1881, №8-10; 1882 №1,10. Вошло в Собрание Сочинений (Т.III). Здесь публикуется по К. Леонтьев. Полное собрание сочинений и писем. Т. 5., СПб., 2003.

[^^^]

2

Уроженец острова Хиоса.

[^^^]

Верховой ямщик вольной турецкой почты.

[^^^]

Сарай

[^^^]

5

Чобан значит пастух; Чобан-оглу — сын пастуха, фамилия вроде Пастухова.

[^^^]

6

Люди, которые зажигают свечи и лампы.

[^^^]

Балалайку.

[^^^]

8

Жаровни для согревания комнат.

[^^^]

Кастро — крепость, центр города, населенный христианским и европейским достаточным, торговым классом.

[^^^]

Австриец.

[^^^]

Суддит — *sujet*, так зовут турки иностранных подданных преимущественно местных уроженцев, снабженных иностранным паспортом, в отличие от подданных султана — райя.

[^^^]

12

Все прекрасно! «Красота, тишина». Все равно что у нас: «слава Богу!»

[^^^]

13

Дели — безумный; бок — навоз, грязь или еще хуже.

[^^^]

Тиджарет — коммерческий суд в Турции, в нем каждое консульство имело двух своих представителей для тяжёбных дел между турецкими подданными и иностранными.

[^^^]

Углубления в стенах, с дверцами, наподобие шкапов.

[^^^]

Челибей — господин

[^^^]

Очень известный в свое время вождь болгар-униатов, возвратившийся потом в Православие. Простой лавочник, но очень способный.

[^^^]

Аза тиджарета — член коммерческого суда.

[^^^]

Местные жители без жалованья и без полных прав.

[^^^]

Мышиное гнездо по-гречески.

[^^^]

Пазвант, или пазван — ночной сторож.

[^^^]

Пожар! «Пожар есть» слово в слово.

[^^^]

Перевод: «Молодой малый погнал; Молодой-малый серое стадо; По пастбищу султана; Султана царя господина. Люди говорят молодцу...» и т. д.

[^^^]

Пономарем.

[^^^]

Су Kno.

[^^^]